

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН

ПРОСТО ПРОЗА

Михаил Эпштейн

# ПРОСТО ПРОЗА



FRANSTREDFOR USA

# *ПРОСТО ПРОЗА*



1967

Михаил Эпштейн

# ПРОСТО ПРОЗА



*Franc-Tireur*  
USA

Just the Prose  
By Mikhail Epstein

Copyright © 2016 by Mikhail Epstein

All rights reserved

ISBN 978-1-365-00334-9

Printed in the United States of America

## Предисловие

**П**розу я начал писать в 13 лет. Я хорошо это запомнил, потому что мой первый рассказ так и назывался: «Тридцатилетняя любовь» — о страданиях моего ровесника из-за безответной любви к однокласснице. К 20-ти годам у меня уже накопилось множество черновиков и замыслов, которыми я тогда же, в 1970 г., поделился с Андреем Битовым, кумиром моей юности. Впоследствии Битов так вспомнил начало нашего знакомства: «Приходит ко мне 20-летний Миша и спрашивает: „У вас сколько задумано сюжетов?“ Ну я повертел в голове, вроде 7 или 8. „А у меня, — он говорит, — 138“. Даже цифру запомнил. Вот так я тогда, в 1970 г., по глупости и гордыне мерился с Битовым. Разница в том, что он все свои 7-8 воплотил. И даже больше. А я из тогдашних 138 — только один — рассказ «Мертвая Наташа»...

45 лет назад третьекурсником филфака МГУ я послал этот свой первый законченный рассказ в редакцию «Нового мира», еще при А. Твардовском. Добросовестный критик Лев Антопольский в своей внутренней рецензии, в целом доброжелательной, посетовал на избыток психологизма, философизма и субъективизма. Рассказ отклонили, и прозаик не состоялся. И вот, две эпохи спустя, эта проза непрозаика все-таки была опубликована в январском номере «Нового мира» (2016).

## 6 | ПРЕДИСЛОВИЕ

Проза была главным моим увлечением (и, как я ошибочно считал, призванием) до середины моего университетского срока, после чего я полностью переместился в филологию, эссеистику, культурологию. Но и впоследствии несколько раз «накатывало», с многолетними промежутками и с уклоном ко все большей краткости.

Мой интерес к искусству прозы подогревался моим другом со студенческих лет Сергеем Юрьененом. Сколько времени мы провели в обсуждении В. Набокова, А. Битова, Ю. Казакова, В. Аксенова — и, конечно, наших собственных опытов и будущего в контексте большой литературы! Если бы не Сережа, думаю, мой литературный запал угас бы гораздо раньше, — но он опережающим примером своей блистательной прозы и великодушной оценкой моих замыслов (непретворившихся) все время его поддерживал. Не буду сейчас распространяться о нашем общем университетском прошлом — об этом мы вместе написали «Энциклопедию юности» (Franc-Tireur USA, 2009). То, что сейчас Сергей выступает как издатель прозы, которая им же с юности и вдохновлялась, — для меня это счастливое неслучайное совпадение.

Благодарю мою жену Марианну Тайманову, которая, как всегда, внимательно и многократно прочитала все мои тексты и значительно улучшила их своей точной правкой.

# **ПРОСТО ПРОЗА**





## Мертвая Наташа

Э. В.

### 1.

**О**бычный начинался вечер. Бурсов постучал обычным стуком и с угасшим оживлением стал было доставать ключ. Этот карман, в котором ключ, был самый внутренний и глубокий. И уже, кажется, пришлось бы пальто расстегивать, пиджак, — как вдруг послышались шаги по квартире, жена отворила дверь. Бурсов выдернул руку, все разворошив на себе, вошел, сразу чувствуя облегчение, — она уже дома, в халате, — готовый к бесконечному оживлению. Она стояла рядом, смотрела, как он снимает пальто.

Он поцеловал ее кратко, не выдумывая новой ласки. Она потянулась, легко прислонилась к нему; это его взволновало, и он подумал об этом.

— Подожди чуточку, картошка сварится. — Она побежала на кухню.

А Бурсов, уже в своей комнате и с журналом, раскрытым на лакомом месте, бросился на диван. Статью написал его моральный соперник, руководитель параллельной лаборатории ленинградского института; а глава, раскрытая перед ним, была самая острая, в упор атакующая московскую научную школу. Полемика велась издавна и очень много значила для каждого института и сотрудника: горячее бился пульс, расцветал энтузиазм. Но временами наступало затишье, и тогда ощущалась как бы нехватка воздуха, сотрудники были вялые и сонные, как рыбы. И вот сейчас — серебристый всплеск, свежее подтверждение. Статья была написана с целью исчерпать предмет, и в ней угадывались контуры будущей книги.

Бурсов стал читать. Легкий крен, размыв, неразвернутая складка — Бурсов чувствовал, как неудержимо все соскальзывает в пропасть, и веселые чертики плясали в его голове. Дальше пошло ровно и как будто немножко в гору, но Бурсов уже томился и насильно сосредотачивался. Что-то брякнуло, звонко покатилося на кухне, и он моментально сдался, заложил страницу и пошел на кухню к жене: вот что сулило ему наслаждение.

— Что ты грохочешь? — спросил он жену, не добиваясь ответа, и уселся за стол.

Жена от плиты стала рассказывать, кого она видела за день, с кем и как говорила, какие треволнения претерпела душа. Кажется, ее рассказ был нечто связное, и то, что давно в ее делах назревало, сегодня в муках хотело разрешиться; но он только слышал голос.

— Ей-богу, ничего не понял, — сказал он, когда жена закончила рассказ, и засмеялся весело и любовно, и жена тоже засмеялась: ведь с каким удовольствием и вниманием он слушал!

После ужина Бурсов вспомнил, что товарищ просил отлить ему из запасов польского лаку, весьма редкого, и они, накинув тулупы, искали вместе на балконе банку и перевернули столько всякой рухляди, что пообъективнее он взгляни — ужаснулся бы: как это все потом убрать? Но убрали незаметно, потому что вовсе и не убирали, другое делали: что-то говорили, друг другу протягивали. Потом, в передней, ему долго не удавалось отодрать присохшую крышку от банки, но он оставался спокоен, методически пробовал молоток, плоскогубцы, напильник, долото и пассатижи. Жена подавала

инструменты. Забавным казалось, что вот он, во всеоружии, не может справиться, и он смеялся и приглашал посмеяться жену. Наконец, почувствовав утрату смысла, жена положила инструменты на коврик и, пожелав удачи, ушла смотреть телевизор. Оставшись один на один с банкой, Бурсов ощутил глухую тоску. Кому, как не ему, хорошо известно было коварство и глумление вещества, увлекающего душу в ад бездуховной злобы и тупого сопротивления! И все-таки — в бессчетный раз — он дал себя поймать. Долото, молоток, пассатижи. Душа на медленном огне дрожала и покрывалась испариной. Он бесился, что вот, такой пустяк, злой кусочек металла, его одолевает и берет за горло, и он уже был готов вскочить, запустить долото в угол. И тогда, быть может, без зова придет она, примирит и скрасит.

## 2.

Так он готов был поступить, так он всегда поступал, так ему нужна была его жена, так душа его существовала — как вдруг над самой его головой забился в спазме дверной замок.

— Кто? — спросил он и, обмякнув от старушечьего голоса, отворил.

За порогом стояла старушка, вся закутанная, вся незнакомая, нежданная. А перед ней, через порог, придерживая пальцем дверь, стоял Бурсов.

— Что? — спросил Бурсов.

— Наташа померла, — сказала старушка, — уж вы придите.

— Какая Наташа? — спросил Бурсов. Он сперва не понял хорошенько, что сделала Наташа, и даже чуть-чуть нарочно оставил это на потом, потому что раз о чем-то просили, нужно было в первую очередь выяснить основание и причастность. Так инстинкт Бурсова верно направил. Какая Наташа?

— Ну как же, Наташа... — затруднилась старушка, для нее была просто Наташа, без особенности.

Впрочем, Бурсов осознал уже из того, что осталось в его ушах, перед чем он поставлен, и почувствовал огромную работу, предстоящую его душе, если он окажется причастен, и заранее испытал усталость от борьбы с собой, от невероятных усилий, от тяжкого изнуряющего труда, который и есть — переживание горя. Но делать нечего — он стал поспешно, суетливо собирать в душе горе — по ниточке со всех былых

своих бед. А в сторонке бесшумно готовилось сожаление, что не сбудется удовольствие обычного вечера...

Старушка, размыслив про особенность Наташи, ответила:

— Какая Наташа? Да Наташа-то, она в седьмом доме живет, Коршунова Наташа.

Она даже напористо это выговорила, видно чувствовала, как не убеждают Бурсова ее слова: нет в них главного, его причастности. То ли не знала она его причастности, то ли стеснялась сказать, к тому же видела поодаль за спиной Бурсова прислонившуюся к косяку жену.

— Не припомню что-то, — мягко, не категорично возразил Бурсов, уже теплея к этому горю, пусть неясному еще по принадлежности. Но и досадно ему стало, что выяснение затягивается, и то, что поднакопил он уже в душе и готов был, как плод труда, выложить наружу, требует еще сбережения и новых усилий. Мучительна была эта необходимость горя как такового, ни в чей образ не облегченного, воспоминанием не окрыленного. Бурсов бессилён был чувствовать такое горе и очень желал бы поскорее, уж если суждено, завести траурный разговор со старушкой о какой-нибудь умершей знакомой: вопросы, ответы, обстоятельства смерти, воспоминания о живой, скорбь и сетования, — чтобы прекратить, наконец, это

положение, когда горе — дело единственно его совести и души.

Так они молча стояли друг перед другом, каждый чувствуя вину и бессилие. Растерянность старушки стала ясна Бурсову и озарила его догадкой, и исполнила надеждой, сняла бремя с души. Все обратилось в сочувствие, ведь роль ее — скликать на похороны — унижительная, жалкая; но это было уже легкое, отпускающее на покой и радость сочувствие.

— Вы, наверное, не туда попали, вам другая квартира нужна... — сказал Бурсов.

Старушка засунула руку по локоть в глубины своей одежды и вытащила кулак. У Бурсова екнуло в сердце: «Что ужасного я сотворил? И такая старая!» Он тут же, однако, пришел в сознание, старушка разжала кулак и подала скомканную бумажку. На ней бледным карандашом было выведено его имя и адрес.

«Я», — решил Бурсов обреченно. Но мука сострадать к нему уже не вернулась. Ее вытеснило чувство, что в таком положении страдает не покойница и не ее посланница, а он сам. Жил-поживал, не грешил, ничего не ведал, а где-то про него замышлялось, писалась карандашиком бумажка, и вот он уже



чему-то подлежит, на что-то обречен. Конечно, и те пострадали, но теперь это самое их страдание — надсмотрщик его, и старушка не просительница, и он не волен, а наоборот: она своему горю хозяйка, как может, так и горюет, а он ее чужому горю послушен. Она им распорядиться пришла, и он действительно должен быть покорен: горе-то большое. Ничего не может Бурсов этому праву на себя противопоставить.

Старушка, видя его отрешенным и задумчивым — будто уклончивым — принялась уговаривать, сбиваясь от искренних чувств на «ты». Бурсов это заметил и утвердился, что она на многое имеет право.

— Уж ты ее пожалей, она сирота, отец-мать еще в деревне померли, она одна и поехала в город, лет десять пожила, да и сама, видишь, отдала богу душу. Я-то ей тетка, она меня к себе позвала, мол, больная. Я тут, а она возьми и помри. Как померла, так в тот день женщина с фабрики приезжала, апельсинов навезла. Хорошая, жалостливая женщина. А так — кому до ней дело? Похоронить, чтоб душевно, и то некому. Так уж вы приходите, пожалейте. Жалко ее.

«Какое мое ко всему этому отношение? — думал Бурсов. — Может, я забылся, может, в действительности я другой, близкий покойнице, а не тот, каким себя представляю?» Он

оглянулся. В дверях комнаты стояла именно та женщина, которую он знал своей женой.

«Нет, в этом я крепок, меня не собьешь». Он обратно повернул голову, увидел старушку, и несоотнесенность двух пограничных миров, жениного и старухиноного, его поразила. Сзади и спереди все было иное, там и здесь своя особая духовность, своя осмысленность, своя точность. А он, Бурсов, стоял на пороге и был границей.

— Хоронить-то нужен народ, и чтоб не просто, а чтоб знали, любили ее. Я к соседям пошла, спрашиваю, с кем Наташка водилась. Ну, они и говорят: Любка была у нее подружка, та будто бы в отпуск уехала, а еще Катька, эта придет, и еще Сенька, родственник наш, тоже придет. И про вас сказали, что она с вами зналася, и написали тут. Извините, если что не так.

Бурсов растерялся и покраснел: в каком смысле «зналася»? «Странно», — произнес он фальшивым тоном, очень чувствуя за спиной жену. Фальшив его тон получился не потому, что он помнил какой-то свой грех и хотел его скрыть, а потому, что хорошо чувствовал основания жены заподозрить его в грехе. Вообще, оттуда все происходящее в передней могло выглядеть двусмысленно. И потому, если бы он сказал тоном искренним,

от чистого сердца, — вышло бы неправдоподобно, а сама фальшь и деланность его прозвучали естественно в той обстановке.

— Уж вы приходите, пожалейте, — все твердила свое старушка. — Фабричных с работы ее много придет — женщина говорит, «все придем» — да я хочу, чтоб не просто проводить ее, а по душе. Молодая была, пожить не успела, надо ее хорошо проводить. Так-то я сама все сделала, на что силы нашлись: гроб, машину заказала. Я ее не на кладбище повезу, а туда, где жгут: люди с фабрики подсказали, говорят, чище, удобней. Вы не знаете?

Бурсов смутился такому вопросу и пожал плечами.

— Вы пораньше приходите, вам рядом тут. Машина к шести часам подойдет. Вы поможете, как выносить станут. Мужчин-то у нас почти и нет. Вся бабья фабрика.

— Я в это время работаю, не могу, — сказал Бурсов опять с фальшью в голосе. Он и на этот раз сказал правду, сзади могли это подтвердить; но старушке это могло показаться уверткой. С той стороны очень сомнительно было, что он не может прийти, и очень обнажалось, что не хочет. Прямо било в глаза, что не хочет. Бурсов видел себя уже и ее глазами.

Вообще он остро ощущал прохождение через себя границы — и шаткость, зыбкость свою на ней. Он не мог быть верен себе, тверд и честен в двух мирах сразу. Вступая в один из них, он оказывался отщепенцем другого. То ли его не хватало. То ли его на слишком многое хватало. Собственно, его как будто и не было. Самое тягостное было то, что ему все время приходилось наблюдать, проверять себя, чтобы точно балансировать собой эти миры.

— Ах, жалко, — сказала старушка. — Ну хоть туда приходите, где жгут. Знаете? В семь там будем.

— Хорошо, — сказал Бурсов живо и заверительно. — Я постараюсь.

В этот момент он поймал взгляд старушки на пол. В нем вдруг осозналось, что она уже не первый раз туда смотрит и все с интересом и даже вроде с улыбкой, с ухмылочкой веселой в глазах, и он опустил глаза и увидел под ногами плоскогубцы и молоток, чуть поодаль — банку с красочным польским тиснением, и ногой отшвырнул молоток. А старушка с интересом смотрела. Мол, чем это он тут занимается, инструменты какие важные!.. Неожиданен и странен был этот ее живой интерес к чему-то наряду с таким горем и целью

визита. И она по поводу этих инструментов словно чего-то недоговаривала, и это таилось в ее поджатых губах.

— Милости просим, — неуместно сказала напоследок старушка, поклонилась и ушла.

Бурсов удивился ей вслед и обрадовался, потому что в нем уж начинали говорить какие-то неясные побуждения, вроде как впустить ее, пригласить к чаю, познакомиться с женой, и одновременно сомнения стали его одолевать, уместно ли — чувство реальности он потерял и решать мог только рассуждениями и выкладками. И вот такой легкий, можно сказать, великодушный уход старушки сам собой все его сомнения разрешил.

Бурсов закрыл дверь и пошел в комнату, попутно отгребая ногой все инструменты и банку к стене. Жена уже скрылась.

### 3.

Когда он вошел, она, обхватив руками колени, сидела на диване и смотрела в телевизор. Он подумал спросить ее, какой фильм, но не спросил, потому что это походило бы на отвле-

кающий маневр. Ясно, что в этот момент волновать его могло лишь происшествие и лишь о нем честно было бы заговорить. Но это тоже был бы маневр, демонстрация невинности. Только молчание, пусть расцененное как трусость, не было маневром, не требовало усилий и не могло завлечь в лишние беды.

Бурсов решал это, остановившись посреди комнаты, у стола, а когда решил молчать, вдруг ощутил в руке что-то полущекочущее, полувпившееся. То была бумажка с его именем и адресом. Он хотел унести ее в свою комнату и там выбросить в форточку, но ему показалось, что жена эту бумажку в его руке уже подметила, и стыдно стало ее укрывать. Он положил ее, как есть, на стол и ушел к себе. А бумажка оставалась долго еще на столе, до нее не дотрагивались и даже не клали рядом с ней ничего, чтобы не сдвинуть ненароком, не обжечься, не разбудить все спящее в ней, страшные силы.

В своей комнате Бурсов подошел к окну. В доме напротив окна светились полными квадратами или проваливались в глубокий мрак, и только в окне, через которое он глядел, была рыхлость, незавершенность, точно обрыв бесконечных смещений, вздрагиваний, мерцаний.

Бурсов перебирал в памяти всех своих прежних девушек. Тех, с которыми был близок до женитьбы, или стремился к близости, или готов был к близости, или просто обхаживал, или провожал домой, или ходил в кино, или просто болтал и чуть-чуть забалтывал. Не находил он среди этих девушек Наташи Коршуновой. Да если бы и была, а он забыл ее имя, все равно он был уверен, что ни с одной девушкой у него не было такого, что, если она умрет, его позовут к ней на похороны. Это же что должно было быть!

Что у него было? Он влюблялся до безумия. Он мучился. Он страдал. Но то был не он, кто влюблялся, мучился и страдал. Ему во всех его наивысших чувствах недоставало самого себя, он терялся в них безвозвратно. Поздней ночью он сидел при настольной лампе над решающим письмом ей, уже, кажется весь, до дна голубыми строчками разлитый на бумаге — и вдруг... Все те же в нем чувства, но будто на себя смотрят, дивятся: кто это? я? разве это я? это я люблю? я пишу? И так от всего, что он делал, отдавало чьим-то чужим, чьим-то вообще, как будто кто-то другой за него это делал или он за другого, очень, впрочем, вживаясь в его роль. Но как ни захватывала его игра, она оставалась игрой и не прорывалась в жизнь. Самую стыдную свою родинку он в этой игре не

выдавал, неестественными телодвижениями утаивал: не знал еще той любви, в которой родинки не таятся, в которой родинки любят.

И ни о какой из своих подруг он не мог тогда помыслить смерти, — настолько это было свыше его, свыше подруг, свыше того, что их соединяло.

Бурсов приоткрыл форточку. Комната выдохнула в ночь серебристое облачко пара. И вдохнула мороз. По лицу, рукам Бурсова забегали скользкие, леденящие прикосновения. Бурсов постоял так, отдаваясь все ниже переползавшей по нему стуже; и когда стужа забрала его колени, захлопнул фортку.

Вдруг послышалось насекомое зуденье, оно выходило из угла, заставленного кроватью. Бурсов подошел, наклонился, постучал кулаком о стену, из-под кровати вылетела муха и заносилась по комнате, монотонно жужжа и глухо торкаясь о стены. Откуда взялась эта муха посреди зимы: в форточку влетела или, может, спала, забившись под плинтус, до лета, а холодом ее разбудило? Муха ровно, механически стрекотала, как что-то неживое, словно к ней был прицеплен отдельный моторчик. Бурсов вдруг страшно обозлился на эту беззакон-



ную муху, так извратившую природу, замахал руками, забегал за ней по комнате, лицо его приняло сосредоточенное хищное выражение, и он будто помолодел. Он распахнул настежь форточку, схватил со стола свежую нечитанную газету и набросился на муху, а та, вялая, сонная, отяжелевшая, увертывалась медлительно. Пришел бы ей на стенке конец — такой сочной, мясистой мухе! — но ей повезло ускользнуть в окно. Это все равно, впрочем, был верный конец: на морозе она не выдержит, черной снежинкой затеряется и завьется по ветру в мириаде белых подобий, такая же холодная, уже неживая.

Прогнав муху, Бурсов прислушался к соседней комнате. Сквозь шум в ушах — с каких это пор после чуточки мышечных усилий у него шум в ушах? — постепенно к нему просочилось, как в соседней комнате тихо наигрывает телевизор, сладкий мужской голос читает стихи. Бурсов широким жестом растворил дверь и крупными шагами прошел между женой и телевизором на кухню. При его прохождении глаза жены метнулись от него в сторону, туда и сюда, словно стрелка компаса под действием отрицательного магнитного полюса.

В кухне Бурсов нерешительно потоптался, отпил воды из чайника, зажав зубами металлический носик, закусил конфе-

той, опять прополоскал рот водой. И отломил еще кусочек от конфеты. Он решительно не знал теперь, к чему себя приспособить. Вечер был уже испорчен, не восстановишь; и еще неизвестно, один ли только вечер.

Кухня была дорогой Бурсову уголок квартиры. Тут он часто обдумывал свои работы. И сейчас по нахоженному месту ходил взад-вперед. Он вдруг почувствовал на себе тень приблизившейся к нему смерти, и, словно резкие тени выели его лицо, даже чувствовал себя осунувшимся. Скорбь и величие проснулись в нем, будто впрямь он переживал чью-то смерть; и с высоты этого переживания смотрел на все грустно и строго. Словно на миг он и впрямь принял Наташу как дорогое скончавшееся существо...

С этим-то победным чувством он вошел в комнату и прислонился к шкафу, скрестив руки на груди. Жена делала вид, что читает журнал: явственно было, что она не может его читать, — но она стойко читала. От этого мужества жены Бурсову стало так стыдно, что, будто чем-то подхваченный, он мигом перенесся в свою комнату.

И тут убежденность и непримиримость жены стали колебать Бурсова в том, в чем он был уверен и в чем допускалось

лишь его свидетельство: что он не знает Наташи. Ему вдруг стало казаться, что он действительно помнит. Что-то раскрывалось, высвечивалось в нем. Но эта Наташа была не женское лицо, не один человек, а нечто смутное, многолюдное, многоголосое — как прошлое в целом. И все это прошлое было как свидетельство о Наташе. Словно что-то вспомнил Бурсов, какое-то осязание в пальцах — Наташа. Желтый шарф мелькнул — Наташа. Множество доказательств, примет. Подступали, требовали. Бурсов все отвергал, все по другим, известным лицам рассовывал — и все-таки была Наташа как некая темная тайна, вбиравшая в себя все забытое, и только имя от нее всплывало — «Наташа». И воспоминания утекали туда, в темное, там был предел души, и мир уходил в иное измерение. Там Наташа какая-нибудь хохотунья, кокетка и дурочка, там и он — какой-нибудь... Там лето, теплынь, а на него оттуда, через темную щель, будто холодом веет... Была, была Наташа — всей прошедшей жизни его вина: и сейчас перед женой — вина...

За дверью слышались шорохи: жена стелила себе отдельно постель. Бурсов вспомнил, как она в завязке вечера к нему прислонилась; но то уже стольким было перечеркнуто! И Бурсов стал у себя стелить. Снял покрывало, выдернул из-

под боков матраца края одеяла и простыни. Простыня была холодная и жидкая, как вода. Бурсов накрылся — как захлебнулся.

#### 4.

Постепенно он согревался в своем маленьком, плотно замкнутом логове. Нарочно придавил кончики одеяла, чтобы ни одна частица холодного воздуха внутрь не проникала. И так, весь поджавшись, он начал думать все заново, от самого простого.

«Вот, — думал Бурсов, — живут где-то люди и что-то думают про меня. А я и не знаю, что. Странно устроен мир: в мысль вхожу к кому-то, а ничего со мной не происходит. Нет непосредственности. Лежу себе под одеялом, будто и не при чем, никакого мыслительного пространства вокруг... И чужие мысли обо мне, как увесистые снаряды, — не проносятся же мимо. Диковато это: я сам по себе, а еще есть я — предмет, я — чей-то. А кто мною правит? Мистика получается. Но рано или поздно они доберутся до меня и призовут к ответу. Душу

вынут. Жизнь перевернут, и не скроешься никуда. Им и смерть не помеха, через смерть наступит. И вот — отвечай за себя, какого и не знал, и не выпускал из себя никогда, и санкции не давал».

«Настигнет, наступит, крепко тебя прижмет, — мысли Бурсова по мере того, как он засыпал, вступали все теснее в связь с телом, разливались по крови, и при мысли «прижмет» он крепче прижался боком к постели, ощущая сонную сладкую истому. — Прижмет... Наташа. А хорошенькая она была? Любила меня, что ли? — Любила. Хотела. Теплая. Женщина. Всякой другой стоит. Любит. Верная жена. Упустил? Нет, она рядом, мягкая, любит, жена. Наташенька, плоть от плоти, Наташенька, о, Наташенька...»

В неге Бурсов и заснул.

Ему снился страшный, пытающий душу сон, но начало и исход сна были — наслаждение. Будто девушки кружатся в хороводе, в красных клетчатых юбках и грубых шерстяных чулках, и это другая страна, Шотландия. И он с одной девушкой в самой середине хоровода то ли танцует, то ли бесстыдничает, потому что их вроде и не видно, подолы реющие заслоняют. Потом хоровода уже нет, и поляны или чего там — тоже нет, а город, и широченный проспект белыми колеями

разлинован: каждому транспорту — своя колея. И вот он идет по своей колее, ближе к тротуару, и везет за собой урну на тележке, в виде конуса или воронки. Это новейшая модель инвалидной коляски. И в этой урне — его партнерша по танцам, над конусом — только грудь и голова, а ног то ли нет, то ли она их в нижнее острие втиснула. Он везет ее, пятясь задом, лицом к ней, очень внимателен к ней и нежен. «Смотри, — говорит, — не урони спички в урну, а то керосин сам может воспламениться, там такая реакция химическая: перец плюс одеколон». Она ничего не отвечает и будто даже пренебрегает им, но все это понарошку. Они едут, он натывается на столбы, углы, людей, и на него со всех сторон сыплются шишки. «Ну как ты меня везешь? — говорит она. — Ты что, нормально не можешь? Повернись и вези как положено».

Он послушно поворачивается — и чувствует уже замысел ее и трагедию — но поворачивается, словно и мысли такой чужд. Он везет ее как положено, быстро, прямо, красиво огибает углы и столбы, и даже удовольствие получает от легкой своей походки, от того, как изящно повинуется ему тележка, — а между тем полон ужаса. К нему откуда-то поступает ясное знание того, что творится за его спиной. Вот

она из каких-то несуществующих глубин своей ветхой, всей наружу одежды достает нечто красное, зажигательное — бросает вглубь своего конуса, своей скорлупки (она — улитка). Легко и чисто взвивается пламя. Вот что-то потрескивает за спиной, как сухая березовая кора: это она. Жар за спиной слабеет, и опять свежестью и холодом несет оттуда. Тогда он оглядывается и видит: в бензине плавает мокрый пепел. Так быстро она отгорела, что бензин даже весь не успел израсходоваться. И тогда он оставляет эту тележку у какого-то угла, как настоящую урну, и впрямь не уличишь его в подмене, все в этой урне как полагается: гадкая жидкость и мокрый пепел, и пепельной вонью несет из нее. И вот уже кто-то подходит и бросает окурок. Но тут же отшатнется...

Потом мимо Бурсова тянутся бесконечные глухие заборы, он мается в грязных закоулках, скучные дома и дворы — все замкнуто, пустынно, он один под небом, кружится голова, и он спотыкается. И во сне он подробно переживает все входы и выходы и возможные пути и хочет выбраться на какую-нибудь улицу, по которой движение, и пойти со всеми, все равно куда, — но закоулки его путают и играют им. И нужно ждать, пока его проиграют, — только тогда ему выйти из этой игры.

Еще час оставался до звона будильника. Утренний, сизый от пронзительного снежного свечения сумрак стоял за окном, заходил в комнату, покрывал спящего Бурсова. Тот лежал на боку, глубоко вдавившись головой в подушку, крепко прижав к груди руки, сложенные как при молитве. А из-под уголка одеяла торчала большая, неестественно длинная на белой простыне ступня.

Бурсов просыпался в это утро постепенно, толчками; сон волнами, словно щепку, выносил его на берег и вновь слизывал, забирал с собой, никак он в яви не оседал.

В какой-то миг, в одном из бесчисленных закоулков, он очнулся и, не имея перед собой еще никакой другой реальности, кроме сна, уже знал, что это не реальность, а сон, но ничего другого еще не мог себе помыслить.

И стал дальше плести свой сон, уже подталкивая воображение, уже владея, а не во власти. Ему нужно было из мрачного закоулка доставить себя к девичьему хороводу, так ублажавшему его в первом сновидении. Но не волшебством доставить, а чтобы это имело силу реальности. И вот он изобретает, что выскользнет отсюда и попадет в еще худший, отвратительнейший тупик и отчаится; но там будет цель, он случайно ее



обнаружит, протиснется и — о радость! — он на поляне, он в хороводе. Так он и сделал, во сне. Но радость получилась предусмотренная и отдавала машинной мазью, скрипом болта. Что-то рушилось, распадалось в Бурсове, он неотвратимо трезвел и все силы души клал на подобие той реальности, которою жил во сне. Он даже улучшал прежний сон, украшал по своему вкусу девушек, сочинял острее и увлекательнее сюжет, — но был бессилён против новой реальности, темно-синей, бросающей в озноб, грозящей Наташей. Образы его тускнели, он боролся за них отчаянно. Странная была картина: в синей, пронизанной ревматическим ноющим рассветом комнате лежал на смутно белеющей постели человек с закрытыми глазами и напрягался душой, и под сомкнутыми веками расплзались, словно ватные, напиханные им фигурки; и тесно смыкался вокруг этого внутри кипящего человека холодный рассвет.

Чем лучше он выдумывал, тем беднее становилось удовольствие, и играть дальше уже было тяжело, скучно, ненужно. Тогда он проснулся. Открыл глаза, принял рассвет. Вытащил из-под одеяла руку и погладил простыню, потом провел по холодной никелированной перекладине над головой. Легко

было и в этой яви, как легко было во сне. Отчего же такой труд, такое преодоление на переходе?

## 5.

Утро принесло обыденность. Апельсиновой пастой Бурсов вышиб мутный вкус изо рта. Жена спросила, что ему желательнее на завтрак: яичницу или картошку. Внимание было ему приятно. Но, может быть, плохо, что она считается с его вкусом как с чем-то отдельным? Бурсов вдруг оказался в мире двузначностей. Словно жизнь то одной, то другой стороной ему являвшаяся, теперь подступила к нему самым ребром — и рассекала его. Он ходил по квартире через застоявшийся сумрак — за окном было значительно светлее — и чувствовал себя перекатывающимся сгустком сумрака. Он ходил, даже руки спрятав в карманы и голову втянув в плечи — чтобы меньше белеть. Он не знал, какие у него теперь отношения с женой, и даже вообще — есть ли между ними отношения. Жена молчала. Бурсов тоже молчал. Радио молчало.

Бурсов ел глазунью с двумя выпуклыми желтками, в которых мелко все отражалось. Объял сначала всю тонкую пленку белка, потом проглотил глаза. Одновременно читал политику в газете. Не глядя на жену, он ее чувствовал. Основное в ее манере, в жесте, которым она ставила тарелку на стол, — была сознательная неполнота, нарочито оставляемый краешек. Это было совсем не то, что во вчерашней ее болтовне за ужином, когда она, веселясь и увлекаясь, все себе забирала. Теперь она недодвигала чуть-чуть. Это и границу проводило, и тут же дорогу открывало через эту границу. Она на этот краешек поджидала Бурсова: заступит ли. Не договаривала. Тарелку недодвигала. Создавала маленький вакуум. И это чувствовал Бурсов: как вакуум его легонько потягивает в себя.

— Я пошел, — сказал он жене, чего никогда не говорил.

Жена внимательно, чуть сострадательно и с бодростью, как больному, кивнула ему. Будто его увозят на операцию.

И Бурсов ушел, помахивая прекрасным новым портфелем, которым в своем кругу еще не успел даже как следует погордиться. На улице уже рассвело, чисто и неярко белели облака, во всем была кроткая ясность, которая предшествует свету, — туману, напускаемому солнцем. Дворники скребли свои тротуары и не обращали внимания на прохожих, а прохожие

шли своими тротуарами и не мешали дворникам, и легко и приятно было каждому заниматься в такой ясности собой и своим делом. И в троллейбусе, хотя и было тесно, — а все-таки свободно, приятно.

Стоя, Бурсов поглядывал на мужчину и женщину, сидевших рядом. В них была некая эстетика, а он сейчас к этому был особенно чувствителен, к эстетике сочетающихся двоих. Они были хороши, красивы, хотя и не молоды: но это и сильнее действовало: значит, сознательный точный выбор, а не молодая причудливая натура. Была порода в обоих, летами взлелеянная и связью украшенная. У мужчины серебрились виски — прекрасной чистой сединой. У женщины черты лица были воздушны и как бы таяли в окружающем воздухе. Они не разговаривали, не переглядывались, не соприкасались даже их одежды; но они чувствовались вместе, очевидно и несомненно — вместе. И он воображал их наедине, этих двоих, их любовь, их наслаждения, обычаи их крови.

Вдруг женщина встала. Мужчина сдвинул колени и пропустил ее, не глядя. На остановке она вышла. Это неприятно подействовало на Бурсова. Она осталась стоять на остановке, озираясь в незнакомом месте или ожидая кого-то. Бурсов сел

на освободившееся место рядом с женщиной и просидел там всю оставшуюся дорогу. Что-то, однако, ощущал нехорошее от этого места и соседства, будто краденое.

В институте в этот день защищалась докторская. Перед тем, как идти на защиту, Бурсов наведался в свою лабораторию. Женщины при его появлении разошлись по рабочим местам, а Нюра подошла и косноязычно попросила отпустить ее сегодня пораньше. Бурсов ей даровал свободу. Вообще сегодняшней день он ощущал как праздник или воскресенье, как свободу от обычного порядка вещей, — и рад был подкреплять подарками это чувство. И диссертация, на защиту которой он отправился, тоже была редкая, докторская, и защищал ее какой-то экзотический человек из Закавказья, про которого в институте никто толком не знал, но говорить про него было принято весело и остроумно.

В актовом зале уже собрались. На докторскую защиту съезжались обыкновенно из всех институтов и вузов. Много было знакомых лиц: преподаватели, сокурсники, коллеги — все сопутчики Бурсова на его тернистом пути. «Петр Андреевич!» — приветствовал Бурсов и жал руку. «Федор Карпович!» — и руку жал. Федор Карпович был тот самый, чью статью Бурсов прочитал несколько дней назад и пришел

в ужас: статья совершенно детская. Сантименты по поводу двух химических элементов. Теплые, искренние чувства к проблеме. «Прощаться можно, — сказал в тот вечер Бурсов жене. — Хоть черной рамкой обводи. Некролог». К удивлению Бурсова, Федор Карпович был бодр и весел, старческий румянец играл на его щеках. «Нет уж, Анна Петровна, позвольте вам этого не знать», — с лукавым видом тряс он пальцем в воздухе перед средних лет кандидаткой. Та глядела на него ласково, немножко со стороны. «А-а, Женя, здравствуйте, как успехи?» — азартно перескочил старичок на Бурсова. Ему, видно, очень нравилось, что уже в двух направлениях у него разговор, что он, так сказать, душа общества, его к себе зазывают, смотрите, как подвижен и неистоим его ум. И Бурсов, отвечая ему о делах, им любовался. Также у Бурсова был разговор с товарищами: кто чем занимается, кто сколько чего напечатал. Один — методическое пособие, другой — рецензию в журнале, третий жаловался на конкуренцию. С удачливым Бурсов перешел на общие темы, и тут уж пошла чушь, и Бурсов понес чушь, и оба смутились и деликатно друг друга от общих тем освободили. Прочно Бурсов осел возле другого своего товарища, меньше всех,

правда, товарища; но уж этот глупости не скажет. За глупость подведет себя дома к зеркалу и станет себе ухо рвать — такой чувствуется в нем самоед.

Начало откладывалось. У стола с зеленым сукном суетились какие-то молодые люди, Подносили папки. Про диссертанта говорили, будто он заперся в кабинке уборной и курит. Это уже был перебор.

Две женщины ввели под руки седого как лунь, и трясущегося, как лист, академика и усадили аккуратно в кресло. Никто к нему не подошел поздороваться, чтобы не отнять у него сил. Только директор института в лакированных туфлях и высоких полосатых носках подбежал, наклонился, густым баритоном стал говорить чрезвычайные любезности, а академик, чуть приподняв приятельски руку и опустив ее на плечо директору, что-то зашептал ему на ухо, после чего директор выпрямился, долго, не мигая, смотрел в зал, потом повел шеей, будто галстук его душил, и скрылся.

Наконец наступила защита. Гурашвили был немножко похож на вождя народов. Даже странно было, что он защищает, а не зал от него. Чувствовалось, впрочем, каким милым, обаятельным, остроумным он будет на банкете. В зале указы-

вали на его жену. Сидела в заднем ряду, опустив глаза, в черном платье, старообразная, с черными усиками.

Бурсов чертил в блокноте худую собаку, утрировал ей впалые бока.

Был перерыв, буфет, крутые яйца, от которых скорлупа отставала вместе с белком и являла одно голое хорошенькое ядрышко. «Не могли холодной водой окатить», — ворчал приятель.

Были кулуары, дымные и въедливые. Подтрунивали над директором. Над академиком. Над диссертантом. Над оппонентами. Трун-трун стояло в воздухе. Чуть пахло водой из близлежащего туалета.

Бурсов расхаживал по курительной комнате, сутулясь и глядя себе под ноги, как старик. Вокруг него одни и те же разговоры, как маятник, уходили и возвращались уже на другом слове.

Потом Бурсов заводил себе часы и почему-то выбирал, у кого спросить время, как в детстве, когда робел и ждал навстречу самую добрую тетеньку. Потом опять Гурашвили, величественный и злой, опять директор, он же председатель ученого совета, с назойливым совершенством черных лакиро-



ванных своих туфель. Гурашвили добрел, покорял мужественной улыбкой, оппоненты делались все торопливей, у директора все выше вздергивались брюки и виднелись носки, и только жена диссертанта сидела в мертвой позе, берегущейся перемен и словно гипнотизирующей удачу. А у Бурсова в блокноте копились собаки, уже пять похожих, будто скалькированных собак. И одна партия в крестики-нолики с самим собой, закончившаяся проигрышем самому себе. Три выстроившихся по диагонали крестика нанизала и перечеркнула жирная линия.

## 6.

Так прошел бурсовский день. И наступил — бурсовский ли? — вечер. Началось с того, что зажгли свет. Желтый, спелый, вызревший — он словно соком выбрызнул из зеленой бледной кожуры зимнего дня. От Бурсова в этом свете словно бы потребовалось влюбиться. У него даже возникло ощущение, что это будет смертельная по силе влюбленность. И он влюбился в ту темную женщину, что сидела в дальнем углу

у батареи; в жену человека, который крепнул и рос с каждой минутой, завоеывая себе успех. В неподвижную, усмирившую в себе произвол женщину.

В ученом совете началось голосование. Публика очистила зал и запрудила коридоры. Разгоряченный Гурашвили вышел к жене, сказал ей несколько слов и куда-то скрылся. На его появление и речь жена подалась руками — будто стиснула перед собой хрупкий стеклянный шар.

Первые минуты она стояла, прислонившись к стене, открытая взглядам проходящих по коридору. На нее смотрели, и Бурсов среди всех — не как все. «Некрасивая», — думал он, ревнуя ее к ее некрасоте, которую чувствовал посторонней себе и сильнейшей своей соперницей. Некрасивость всегда уязвляла его; видно, он воевал с ней за некую правду. И оставался перед ней без сил и средств, она обезоруживала. И в этой женщине любовь и правда, он чувствовал, уходили, как линии перспективы, к некрасоте и сходилась в ней. Он смотрел в нее — и не мог, не хотел доглядеть до той точки; или та точка сама от него ускользала в даль.

Но что в ней явно было — это мужество самых тонких, неуловимых ее чувств. Она пошла бы на бой против любой

разгадки или вмешательства. И Бурсов не вмешивался, а как бы приливами, волнами с моря замешивал ее в себя. И плелся — женщиной.

Потом она вдруг словно вспомнила про окно, что напротив нее, подошла, накинула вид на лицо, как вуаль. Тогда и Бурсов, прохаживаясь мимо, стал смотреть в окно, словно обратной связью, сквозь мушки — на ее лицо. А попросту: что она видит, то и он. Глазам их, значит, одинаково.

Косой снег перечеркивал темные дома. Окно выходило в глухой переулок. Кто, когда по нему ходил — неизвестно. Иногда только пройдет кто-нибудь переулку под стать: суровая старуха в темной шубе или замкнутый некрасивый юноша. На дно переулка снег стелился так гладко, будто его расстилали женские руки.

Случилось самое большое, что могло случиться: ветер хлестнул снегом в окошко, стукнуло, посыпалось — они оба отдернули глаза и встретились. Черные ее глаза были плоские, как на иконах, и как гладчайшая плоскость прилегает, притягивается магнитно к другой, так прилипли на миг ее глаза к его глазам. Оторвались и посмотрели на него уже со стороны, с неким выражением. И словно оболочку содрали с глаз: они стали у Бурсова как раны — заболели от воздуха...

Ученый совет объявил Гурашвили успех. Публика, бывшая в группках, точно в ртутных шариках, теперь разлилась, потекла и увлекла Гурашвили и его жену. И пропала та неподвижная женщина, поза ее разлилась, растворилась, она обнимала мужа, и руки ее текли, и лицо, и одежда. А Гурашвили стоял смущенный, слабый — труд его воли был завершен — и украдкой как бы отряхивался. Он был с женой и теперь второпях знакомил ее со всеми, и они вместе отвечали на поздравления и приглашали, и ей, после него, каждый жал руку.

И теперь Бурсов точно решил, что пойдет.

## 7.

В своей лаборатории он появился как чужой: женщины, склонившись над столами, таинственно колдовали и только мельком оглянулись на стукнувшую дверь. «Как оно подвигается?» — хотел спросить Бурсов, но побоялся, что на языке это выйдет не так, испортится, — он словно разучился немного на

языке. Он присел поодаль на табуретку и молча, с улыбкой немоты, стал наблюдать Таню и Марию Карловну — милых.

Верхняя лампочка в лаборатории давно уже издыхала и горела тускло, а в шкафу лежала новая, все недосуг было сменить, и в мыслях насчет этой лампочки уже образовалась своя привычная колея. И сейчас, именно сейчас, замкнутый немотой Бурсов вдруг ощутил в себе тягу и любовь к зависимым от него мелочам. Достал из шкафа лампочку, сдунул с нее пыль, постелил газету на табурет и полез.

— Что это вы, Евгений Константинович, наконец надумали? — удивилась Мария Карловна и повернулась к нему со шпателем в руке, прервав свое колдовство.

Бурсов промолчал и лишь улыбкой дал понять свое новое качество. Он вывернул со скрежетом старую лампочку, передал ее Тане, которая наготове встала у табурета, и в темноте вкрутил новую. Вспыхнул яркий, совсем другой, чем прежде, свет. Празднично засверкали пробирки в шкафу. Бурсов, спустившись, долго рассматривал в старой лампочке дрожащий волосок и выбросил ее в мусорное ведро. И снова сел, скрестив на груди руки, с улыбкой на губах и немой, как божок.

Тихо, ласково бурлила в углу на плитке вода. Время от времени булькала длинная установка, выделяя положенную каплю. Запахи всех разлагавшихся и синтезировавшихся в лаборатории веществ понемножку смешивались и создавали родной, специфический именно для нее запах. В атмосфере всей этой мельчайшей работы, скрытно проходившей сейчас в миллионах молекул, Бурсов почувствовал необыкновенный уют, ощутил себя глубоко и надежно спрятанным, словно игрушка в мягкой вате.

— Марья Карловна, — заговорил Бурсов, поудобнее устраиваясь на своем табурете, — что это, поговаривают, Семенихин из одиннадцатого отдела от нас уходит?

Битый час они празднословили. Уже на грани бесстыдного сплетничества, Бурсов все никак не мог насытиться этими теплыми, домашними, свежесвепеченными байками. Он глотал их с лихорадочностью и щемящим чувством, как бывало, пасмурным зимним утром в день экзамена — мамыны оладушки. И терзал его тогда своей скоротечностью этой поспешный уют.

В шесть часов Бурсов вышел из института, время подхватило его и понесло к семи. Ему ровно час оставался.

Снег вокруг падал торжественно, как чей-то сверху посланник вступал на землю с далеких берегов. Посреди этого высокого снега Бурсов ощущал себя очень низким. И люди, он заметил, шли горбясь. Особенно горбился один старик. Он, видно, гулял, не имел ноши, и остро торчали локти рук, погруженных в карманы. Он шел навстречу, потупив голову, устремив глаза перед собой в падающий к ногам снег, и прошел рядом неощутимо, без времени, как скользящий призрак, гонимый ветром.

Дорога Бурсова тянулась вдоль трамвайной линии. Изредка с лязгом пробегали мимо трамваи, увозили в матовых, заиндевелых окошках темные силуэты людей. С проводов срывались рассыпчатые искры и мешались с летящим снегом. А когда трамвай уходил, оставляя за собой надолго пустые рельсы, жутковат был слепой и протяжный их блеск. Как загадочный иероглиф, начертанный в железе кем-то, кто был, и ушел, и унес свою тайну, стыли неподвижно во времени эти рельсы, и в нескончаемой их параллели, в блеске их, покорно бегущем под взглядом, словно означена была скрытая до поры угроза.

Бурсов вышел на маленькую уютную площадь. Трамвайные линии здесь свивались в клубок, железный иероглиф впадал в неистовство. А сразу за площадью вставала монастырская

стена и уводила от площади. Она тянулась долго, глухая, древняя, тянулась так же, как сквозь века. За стеной помещался крематорий. Чтобы туда войти, нужно было обогнуть всю стену.

Снег редел, и проступал ясный чистый воздух. Распахивалось звездное небо. Редкая, как белая муха, снежинка ласкала лицо холодным уколом. Лицо моментально сжигало снежинку. Костер для еретиков. Тепловатая капля сбегала по лбу. Протягивала влажный охлаждающий след. Лицо было наслезено, все в осязании точек, линий, пересечений и смазанных клякс.

Бурсов посмотрел на часы. 6:35. Господи, да ведь он, наверно, мчался, бежал всю дорогу. С рельсами, что ли, состязался, с текучим блеском их? И вот его душе еще двадцать пять минут пути. А сам он почти на месте.

Поворот за угол. Он что-то помнит, бывал здесь. Старушку-родственницу хоронили. Все знакомые, свои. Пресновато было... Сейчас должны показаться ворота. У Бурсова тяжело забухало сердце. Скачет, догоняет.

Ага, вот и стоянка такси. Пусто, один заказной автобус. Светится изнутри стеклянный магазин цветов. Там роскошные, почти тропические растения в толстых керамических



кадках. Бесстыдно раскорячились, сплетаются, протягивают мясистые лапы.

Минуты три Бурсов топтался у ворот, ковыряя ботинком в снегу, подстегивая время. Продолбил носком в сугробе нору, в которой некогда в детстве тепло жилось лисичке.

Под суровым взглядом милиционера в стеклянной будке он прошел в ворота. По широкой аллее к входу, наклоняя голову, поднимая глаза. Там, над серым каменным параллелепипедом, неторопливо ползет в небо черный дым. В нем, размытые оптической волной, дрожат звезды, тянутся, как амебы, или вовсе пропадают за сгустком дыма. А выше дым растворяется в небе.

Внутри это походило на церковь. Сначала прихожая с широкими скамьями по стенам. Потом расширяющаяся зала с колоннами, в стенах — застекленные урны в квадратных ячейках, будто иконостас. А посередине залы — некое место... Вокруг толпились люди. Бурсов увидел там в просвете на возвышении открытый гроб, сплошь усыпанный цветами. Одно маленькое желтое лицо остро торчало между цветов.

Это были еще чужие похороны, и Бурсов отошел к колонне, чтобы не мешать. Он обратил внимание на старика, который стоял неподалеку, как раз посередине между бурсовской

колонной и следующей, в этом наиболее оголенном и неудобном пространстве. Старик плакал. Он трясся от всхлипов и вздохов и все утирал какой-то скомканной тряпочкой лицо — до самого низа шеи дотирал и подпихивал под воротник. Одежда на нем была непонятного, несуществующего цвета и фасона; очевидна была только гимнастерка в распахнутом вороте пальто. Белая щетина покрывала его коричневые щеки и воспринималась отдельно, как какое-то очень белое, чистое вещество старости.

Бурсов еще подумал, что это, наверное, один из главных людей в том горе: может, отец. А те, что так тесно подступили к гробу, окружили и льнут — те почужее покойнику, меньше переживают. Но если его горе главное, где же его утешители? Совсем один: вне колонн, вне людей. Пол ему ближайшее: на колени, лбом...

Обряд шел своим чередом. Подошли двое служащих с молотками — блестящие, отработанные наконечники. Провожающие расступились от гроба, на который накинули крышку и легонько пристукнули ее гвоздями. Из внутреннего помещения на эстраду незаметно вышли музыканты и заиграли траурную музыку. Две трубы и виолончель. Это была

плоховатая музыка. Несовершенство крылось в самих музыкантах: оба трубача были совсем уже старики. У них не хватало дыхания на громоздкие, изогнутые, с клапанами трубы. Третьей была молодая, очень полная женщина: в тупо выставленных коленях она сжимала свой инструмент, и вся ее поза была по-женски тугая. Они играли тут каждые четверть часа, эти руки, эти губы.

В черном служебном халате подошла к алтарю, ни на кого не глядя, полуседая женщина и нажала какую-то кнопку — просто шевельнула рукой. Плоскость ниши раскололась, бархатные края раздвинулись, и разверзлась темная глубина. Подставка с гробом медленно туда провалилась, и над отверстием, проглотившим гроб, опять сомкнулся, подергиваясь, черный бархат. Музыканты дружно, как по команде, удалились. Убавили лампы, и от серого освещения все сникло и помертвело. Провожаящие разошлись. Стало мягко и скучно: контора, гулкий пустой объем.

Бурсов подошел к стене, разбитой, как иконостас, на цветные квадраты, и стал читать имена помещенных в стене пеплов. Тут были инженеры, матери, дети. Белокурый мальчик Сережа Половинкин. Из альбомов отбирались сюда самые

прекрасные лица, тут не было плохих, злых; каждое лицо вопияло о несправедливости конца.

Приукрашенная добыча...

## 8.

Нервные тики ожидания снедали Бурсова изнутри. Он думал о своем явлении людям покойницы и ей самой; эта минута уже подступала, он словно оказывался наедине с шипящей и дымящейся бомбой, которая вот-вот должна взорваться.

«Как они поразятся мне, как осудят и отвернутся, если вдруг она узнает меня и встанет!» — тлело в Бурсове время, бикфордов шнур, приближаясь к заветной минуте.

«Она встанет» — таково было предельное, на границе превращения вещества и духа, состояние Бурсова в ту секунду, когда вспыхнул полный свет.

Бурсов кошачьим шагом подбежал к колонне и, прячась за нее, выглянул. Там, у гроба, шла последняя суета, мужчины

занимали места для поднятия. Наконец понесли. Бурсов отбежал к стене.

Уже играла музыка, сотрудники на прощание обходили вокруг покойницы, старушка подвывала и сморкалась в платочек, вся сосредоточенная в своем горе, и уже казалось, никому до Бурсова нет дела, он лишний тут, отстоит у стенки и преспокойно может уходить. Даже досадно было...

Как вдруг старушка отняла от лица платочек и, оправляя косынку на голове, поглядела по сторонам. Ничего размягченного не было в ее взгляде — сосредоточенность и суровость. Она заметила Бурсова.

Поманила его, загребла пальцами, стиснула мокрый платочек. Подчиняясь ее жесту, Бурсов сделал несколько шагов вперед. «Вот сейчас», — сказал в нем голос. Еще шаг — и взойдет лицо той. Над мраморной огородкой уже показывались верхние цветы.

И Бурсов дальше не пошел.

Он стоял в неловкой, склоненной позе — дужка неведомого круга. Он не выдумывал себе горя, но ужасался и проклинал себя, свою подлую роль, свою сейчас гадкую позу. Он ощутил себя как никогда ясно, отщепенцем в том мире благодетства и красоты, для которого готовил себя с детства, ничего другого

для себя не представляя... Как неблагородна, как мучительна в своей сущности жизнь! Как прекрасны камни — он скользил взглядом из-под опущенных век по мрамору, все еще не решаясь перенестись по ту сторону, переступить взглядом черту.

Со стороны выглядело, будто он спит, взгляд замороженный, остекленелый.

Когда провожающие по требованию диспетчера покинули площадку, а сама эта женщина в черном форменном платье нажала кнопку и Бурсов понял, что Наташа уходит навсегда, он, сразу весь сжавшись и уничтожившись, сделал шаг вперед, как в пропасть.

Но было уже поздно, его застало лишь дерганье черной бархатной завесы. И опять замолкла музыка и убавился свет.

Бурсов подождал немного, пока все расходились. К нему не сразу вернулась способность движения и иного места — он словно прирос к этому, все решавшему, и чувствовал, как тяжелы книзу ноги. И теплота разливается в ступнях.

Когда никого не стало, только от прихожей раздавался шум новых приготовлений, он заметил напротив того старика, что рыдал на прошлом горе. Он и сейчас тихонько всхлипывал и

отирал глаза, а то пусто уставлялся на то место и мелко суетился взад-вперед, полный предсмертного сочувствия. Бог знает, по ком он плакал, чужой тут всем. Он по всем плачет, догадался новым чувством Бурсов, он всех жалеет и любит, он сам готов...

## 9.

И Бурсов ушел, унося, словно негатив всего увиденного, чувство удивительной легкости.

Вдоль каменной кладки глухим переулком... Потом, на пустыре, он почудился себе на дне огромного воздушного океана острым камешком, которым легко играют, и плещут, и перекачивают по дну волны.

Дома было чисто, светло. Он как будто вернулся из долгого отъезда. Родные вещи, теснясь, бросились занимать насиженные, теплые места. Он подкармливал их принесенной в избытке тоской.

Конечно, она сразу кинулась его кормить. Стояла, повернувшись к плите, и что-то там резала, мяла, ворочала, и только виднелись ее шея, завитки, воротничок, тот отрывок, в былом

столько раз перечитанный, а ныне почти позабытый. Этот краешек шеи глядел на него во все огромные, полные укора глаза. Надо было отвернуться. Ничего ему сейчас больше не хотелось, только любить ее заново и умирать за нее, и чтобы эти завитки щекотали его отвердевшую после ветра, как пергамент, кожу. И от невозможности всего этого сейчас — он ослабел, и слезы стягивались где-то в глубине и шли свой трудный путь к глазам, то отступление, то рывок...

«...Господи, — думал он, — долгие годы близости, где они, если сейчас нельзя сказать друг другу единого слова. Что мешает, господи?..»

Наконец, она обернулась к нему, но не одна, а с уже готовой сковородкой в руке, как бы заслонившись ею: одна, значит, не могла, не хотела. А он сомневался, брать ли, потому что как проглотить? Слезы брызнут, нельзя проглотить. Следы снежинок горят на лице. И вроде не так уж он заморозился, мягкая погода, облачная, а все у него горело, будто он битый час провалялся в снегу.

Во всей обстановке был какой-то затор, никак время не могло протолкнуться через эту минуту, и жесты все заперты в теле, и слова — в том, чего нельзя обозначить. И этот затор



был все та же мертвая Наташа, пробка в крови, пробка во времени. Ни слова, ни взгляда, ни жеста. Чайник пыхтит. Гнетущая тишина. Мертвый свет. Замерло все.

И вдруг жена — откуда это живое, это чудо в ней? — его погладила. Провела рукой по голове. И у Бурсова в ответ на это горячее прикосновение само выскочило его признание, вместе со слезами, с горячим умилением вырвалось его признание, его единственные, накипевшие самые честные слова: что ту, неузнанную, он знал, знал, знал. Не мог не знать. И страдает.

Это было признание в любви, он сказал это жене в припадке неистовой к ней любви. И с этим признанием как будто выскочил из-под сердца твердый комок. Все в нем заговорило, заплакало, и он заговорил, заплакал, испытывая головокружение, слабость и вместе с тем восхитительную, уже позабытую с детских лет свободу. Как будто чья-то смерть с давних, давних уже пор ставшая обычаем его души, теперь одолена, пала, сердце размножено и тысячью сердец бьется в груди. К тому, что было силой в нем, пришла слабость. И к тому, что было слабостью в нем, пришла сила. И все, что было давно забыто, было он, он.

Пар ложился на ледяное стекло, окно покрывалось серебристой испариной. Эти крошечные выпуклые водяные линзочки уже сливались, набухали, укрупняя на себе мир, и грузными каплями скатывались вниз, оставляя прозрачные трассы, мигом запотевавшие. И опять: налетал на стекло пар, стыл, проступал водой, стекали тяжелые капли.

1968 – 1971

## Девушка с красной книгой

*О любви, случае  
и возможных мирах*

Появилась облаченная  
в благороднейший кроваво-красный  
цвет...

**О**дин итальянский философ возвращался с конференции, на которой выступил с необычным докладом, состоящим только из вопросительных предложений. Так было задумано: философ не может и не должен ничего знать о мире, его дело — ставить под сомнение известное. Причем темой доклада была сама философия: автор задавал вопросы о ее роли в будущем человечества и предполагал, что единственной темой философии является вопрошание о ее собственном смысле и целях. «О чем гово-

рит философия? Не о том ли, чем сама она может быть? Не этот ли постоянный поиск и невозможность найти себя составляет предмет философии — единственной дисциплины, которая сама постоянно конструирует себя как предмет и проблему?»

Доклад был встречен настороженно: одни слушатели сочли, что философ излишне усомнился в старых, испытанных методах философии, другие — что он недостаточно решительно утверждает новые. Третьи недоумевали, к кому, собственно, обращены эти вопросы, если сам философ не считает возможным на них ответить...

Философ сел на первую, предрассветную, электричку, чтобы успеть к поезду дальнего следования, и, расслабленный после напряжения вчерашнего дня, рассеянно перелистывал бесплатный журнальчик, машинально прихваченный в привокзальном кафе. Журнальчик был для любителей мистики и волшебных исцелений и назывался то ли «Судьба», то ли «Век озарений». Статья, которую стал читать философ, рассказывала о посещении Америки далай-ламой и о том, как тысячи сердец раскрывались навстречу поучени-

ям тибетского мудреца. «Нужно уважать и ценить достоинство каждого человека, — говорил далай-лама, и то же самое он писал в своей книге, которая, по оценке журнала, могла бы спасти мир. — Нужно иметь не только большой ум, но и большое сердце. Думайте сердцем. И тогда вы наполните радостью жизнь своих близких. Будьте в согласии с собой — и другие будут соглашаться с вами».

Вот это и подобные откровения читал наш философ, изумляясь тому, как легко иным людям прослыть мудрецами. Сам философ не терпел банальностей и старался никогда не повторять то, что сказано до него. Он был не слишком известен, поскольку мало кто мог понять, чего он, собственно, добивается. Его мысль рвалась вперед и не слишком заботилась о разъяснениях и доказательствах. Но было в мире несколько человек, которые ценили его именно за эту скорость прохождения мысли через предмет. Кроме того, в его уклонении от повторов было свое упрямство...

Философ не столько читал, сколько предавался разглядыванию пассажиров и особенно пассажирок. Была зима, а сам он приехал с юга и с удивлением отмечал, как закутанность

в платки придает особую свежесть и таинственность женским лицам, так что даже самые заурядные и невзрачные приобретают способность влюблять.

После очередной станции, которая называлась Вашингтон, — но это была не столица, а маленький городок в северном штате, — в вагон вошла девушка, которую он сразу выделил как царицу этого тесного пространства. Она приближалась к нему и глазами искала свободное место. Кресло напротив было свободно.

Девушка несколько раз обвела философа взглядом, как будто проверяя, стоит ли садиться против него, и даже уже подходя и усаживаясь, еще раз взгляделась, то ли сомневаясь, то ли узнавая. А усевшись, достала книгу в красной обложке, раскрыла посередине и начала читать. Лицо у нее было такое, что, глядя в него, можно было долго думать и многое понимать. Такое лицо может склоняться над тобой, когда ты появляешься на свет, и оно же встречает твою душу у порога других миров. В нем не было яркой красоты, а была, напротив, какая-то нежная припухлость, теплый блеск темных глаз. Может быть, оттого, что лицо это было с мороза,

казалось, что и губы, и кожа у нее особенно горячи. Она была немножко как «Девушка с персиками», немножко как «Незнакомка». Но такой чуть раскосой простоты, очаровательного овала, такой милости Господней ни один художник никогда бы не смог изобразить, потому что это было олицетворение самой мысли философа. Глядя на такое лицо, можно думать, как перед иконой — молиться. В эти глаза можно переливать свою мысль, а в затерянные в завитках волос уши можно долго-долго вышептывать все известные и неизвестные ласковые имена, так чтобы голос совсем истаял...

Философ достал карту, по которой еще вчера выяснил у портье, как ему добраться до нужного вокзала, и задал девушке тот же вопрос. Следует заметить, что хотя философ был итальянец, но уже пять лет прожил в Америке и умел говорить по-английски, главным образом, о своей философии. Когда же, вертя перед нею карту, он задал ей свой ненужный, но единственно возможный вопрос «Не скажете ли вы, как мне лучше доехать?» — она с первых же слов

перебила его. «Вы из Италии?» — спросила девушка по-итальянски.

Это было не просто удивление и восторг, но мгновенное озарение — как все просто, ему не нужно пробиваться к ней через дебри чужого языка, они с полуслова свои, а главное: так вот почему он сразу узнал в ней возлюбленную своей мысли, еще до того, как она заговорила по-итальянски, — ведь мысль нуждается в языке.

И вот он заговорил с ней, уже как с суженой и возлюбленной, о том, где ему лучше сделать пересадку, а она легко объяснила, не мешая ему воображать себя его избранницей, но и не желая особенно ему в этом потворствовать. Как будто восхищенный этим ее знанием, а также обмениваясь новым чувством близости, он спросил, вкладывая в слова нежность к родному языку, который мгновенно их сблизил: «Вы здесь живете?» Она кивнула. После чего некоторое время рассматривала страницу журнальчика, который он держал на коленях, а он глубокомысленно и оторопело рассматривал книгу, которую она держала в руках, но заглавия не было видно. Потом она углубилась в книгу, а он заскользил глазами по



журналу, то и дело поглядывая на нее, а она на него не глядела. И удивительно, что он еще что-то продолжал понимать из текста про этого далай-ламу, хотя думал только о ней.

Прошло минут десять вагонного покачивания, скольжения украдкой глазами по ней и ее книге, и блаженно-глупого ощущения, что вот как хорошо — он ничем не досадил ей, не уронил себя в ее глазах, не выдал нестерпимого желания продолжить знакомство. Выждав еще минут десять, он уточнил еще одну деталь пересадки, достав ту же карту. Она ответила — и вернулась к книге. Еще через пять минут он встал, сказал «Всего доброго» — и пошел к выходу: была его станция. Почему-то он не исключал возможности, что она выйдет вместе с ним, и потоптался на платформе, глядя на выходящих следом. И только когда поезд тронулся, он понял, что совершилось непоправимое. Точнее, не совершилось то, что должно было совершиться. Ни имени. Ни даже названия книги. Пустой мир, в котором ее нет и не будет... Он все еще надеялся, что каким-то чудом она появится, догонит его, поймет, что им нельзя расставаться, и сумеет простить его

первую и последнюю слабость — что он ушел от нее. Ведь из его вопросов она прекрасно знала, на какой вокзал он держит путь.

Он сидел на скамейке перед розовеющим сквозь стеклянный купол небом, и мимо него проносился поток пассажиров, в котором не было ее. Часа через два после их расставания он понял, как много способов знакомства имелось у него в запасе, — и ужаснулся своей бездарности. Он мог бы спросить, какую книгу она читает, — а уж дальше ему легко было бы повести разговор. Он боялся, что она нахмурится: а почему вы меня спрашиваете? То, что мы говорим на одном языке, еще не повод для знакомства. Тогда он мог бы сказать, что сам пишет книги и его интересует, что читают итальянские девушки в Америке. А может быть, она и сама оказалась бы философом, и в ее руках был Платон или Гегель — кто знает, ведь он не спросил, — и тогда это была бы предназначенная встреча, на всю жизнь. Таковую книгу в изящном позолоченном переплете в столь ранний предрассветный час могла читать только мыслящая девушка, если не философ, то филолог. На худой конец, он мог бы ей сказать, что удивлен

праздничной светлостью зимы, крепостью мороза, потому что сам живет на юге, во Флоренции, где всегда царит унылая весна. Конечно, не в итальянской, а в американской Флоренции — вы ведь знаете, эти южные плантаторы любили давать своим поселениям названия великих городов, как бы символически роднясь с аристократией прошлого, со своими европейскими предками. И тогда она бы улыбнулась, потому что Флоренция на американском юге — это еще смешнее, чем Вашингтон на севере, и тогда...

Почему же он все-таки с ней не заговорил? Страх показаться пошлым? Но что толку не быть пошлым в ее глазах, если он в эти глаза никогда больше не заглянет? Это примерно то же, что страх показаться грешным Богу — и ни разу не обратиться к Нему, чтобы не оскорбить своим нечестием.

Но может быть, он потому и не стал добиваться знакомства, что судьба как-то слишком быстро ему улыбнулась — и вырвала у него инициативу. Только он заговорил с девушкой, в лучшем случае надеясь услышать приятную английскую речь и через минуту обреченно прервать пустой разговор,

как девушка ответила ему по-итальянски. Это был знак того, что судьба берет его на свое попечение. Вот он и доверился судьбе, и даже когда он уже сидел на вокзале, ему все еще чудилось, что судьба может явить ему из толпы лицо той девушки.

И что она подойдет к нему, и они будут говорить, и он пропустит свой поезд, а она — свою работу или учебу, и к вечеру они станут самыми близкими людьми на свете и разлучатся лишь для того, чтобы через неделю или месяц навсегда соединиться.

Именно благосклонность судьбы обезволила его, и он, блаженно улыбаясь в душе этому подарку — итальянской речи той, которая стала возлюбленной его мысли, — не рискнул сделать следующего шага навстречу, а только старался ничему не противиться. Он не противился даже указаниям своей карты и потащился к выходу из вагона, следуя уже, конечно, не судьбе, а глупому приличию и житейскому распорядку, который принял за судьбу по причине ее необычайной щедрости.

Но в то же время он понимал, что ощутить в той девушке равнодушие было бы для него еще большее, чем корить себя за недостаточную смелость. Так он может по крайней мере винить себя — и хранить в душе возможность счастья с незнакомкой. А если бы она отвернулась, нахмурилась, отсела от него — тогда рухнуло бы не только то счастье, которое он упустил, но и то, к которому он сейчас устремляется мыслью.

Впоследствии он сделал такую выкладку:

*Что мог бы я приобрести, если бы мне удалось завязать разговор и узнать ее лучше? Я мог бы приобрести все: ее любовь, детей от нее, счастье на всю оставшуюся жизнь. А что я мог бы потерять? Я мог бы потерять ее, сказав одно лишнее слово, потому что оказался бы чужим для нее. Но тогда я потерял бы не только ее, но и возможность самонадеянно мечтать о ней, строить миры и дарить им ее имена и свойства. Сейчас от любого предмета я могу образовать предикат «девушка с красной книгой». Я могу сказать: «Вселенная X., в которой девушка с красной книгой любит*

меня. Улица Д., по которой я гуляю с девушкой с красной книгой. Одуванчик, который я держу в руке и на который дует девушка с красной книгой...»

Таким образом, приобрести я мог бы только реальное счастье с ней, а утратить мог бы и реальное, и возможное счастье, которое сейчас со мной, как только я начинаю о ней думать. Я мог бы приобрести реальный мир, а утратить не только реальный, но и множество воображаемых, в которых мы с ней останемся навсегда, поскольку наша встреча создала возможность быть вместе, хотя и не воплотила ее. Таким образом, не продолжив разговора, я вступил в выгодную сделку с судьбой. Я приобрел больше того, что мог бы потерять.

Но чем дольше он думал о ней, этой девушке, тем больше преисполнялся верой в нее. И в себя. Да, в ней могло быть что-то слегка угловатое или резкое, какая-то слабость, способность сердиться, не понимать, какая-то человеческая непроясненность, которую именно ему и дано было бы прояснить. Он мог быть счастливым оттого, что она оказа-

лась бы чуть суровой, или властной, или бестолковой, — чуть-чуть, ровно настолько, чтобы любить ее и за это. Любить и делать другой, смеющейся, всепонимающей. Он представлял, как они, держась за руки, валяются на траве, глядя ввысь, и оттого, что даже в созерцании небосклона они могут быть вместе, он чувствовал несравненное счастье их предназначенности друг другу. Молчать с ней было бы так же сладко, как говорить, смотреть в одну сторону — как смотреть в разные. Его желание этой женщины было беспредельным, универсальным, как все философские желания. Ее именем он мог бы назвать галактику или травинку. Его удивляло, что, ничего не зная о ней, он так всецело хочет ее, принимая в разности ее проявлений. Он всего хотел, но боялся домогаться, потому что малейшее ее сопротивление означало бы смертный приговор ему и всему. Он мог хотеть только того, чего хотела она сама.

Метафизика устанавливает первоначало Вселенной: огонь или воду, мысль или бытие, Бога или атом. А он хотел положить в основание всего ее лицо. Это была бы кроткая, умная, слегка озорная Вселенная, с нерегулярными законами

природы и нелинейным ходом времени, с глубоким состраданием ко всему живому, с маленькими насмешливыми загадками для людей, — как душевный мир, проступавший на ее лице. Но ведь он пробыл с ней всего двадцать пять минут, промолчал, просадил время впустую: в общей сложности только минут пять видел ее лицо и еще минуту-две говорил. Неужели этого может быть достаточно для построения Вселенной из лица? А платок ее или шляпу он и вовсе не успел разглядеть, потому что их затмило ее лицо.

Чем дальше уезжал философ от места их встречи и чем больше она отдалялась во времени, тем больше поэтизировалась в его воображении не только сама эта встреча, но и то, что следовало за ней, и через три часа, уже в поезде, он вспоминал с ностальгией тот час, когда сидел на пригородном вокзале и она еще могла появиться, настичь его.

Теперь ему предстояло настичь ее. Вернее всего было бы вернуться в тот городок со столичным именем и в точности повторить свой утренний маршрут, надеясь встретить ее в том же самом вагоне, и тогда... Но вот этого он и боялся больше всего, потому что все те резоны, которые помешали



ему вступить с ней в разговор, могли бы опять лишить его дара речи. Даже если бы каждое утро он садился в тот поезд и стал бы ее постоянным попутчиком, это спрямление совместных путей до узкого вагонного прохода могло бы только осложнить их встречу в искривленных пространствах судьбы.

И тогда он придумал план... Ему надо было заново найти ее, но уже «с неба», чтобы она сама вышла ему навстречу. Он разузнал, что в ее штате издаются три итальянские газеты. В одной из них он поместил объявление о том, что создается клуб молодых любителей книги, причем дискуссии будут проводиться преимущественно о серьезных, основательных книгах (он не решился добавить — «красного цвета»), и попросил всех желающих откликнуться. Во второй газете он поместил предложение создать ассоциацию пассажиров, которые во время поездок делились бы мнениями о прочитанном, обсуждали текущие средиземноморские дела и перспективы итальяно-американской культуры. Но главную свою надежду он приберег для третьей, самой популярной газеты, где опубликовал свою новую статью о судьбе, приводя в качестве примера встречу в поезде, которая

в реальном мире оборвалась, но могла получить продолжение в возможных мирах. Статья называлась «Девушка с красной книгой в разных мирах» и вся, кроме вступления, состояла из условных предложений, которые начинались союзом «если бы». «Если бы философ на конференции получил ответ на свои вопросы...»; «Если бы название было ясно видно на переплете книги...»; «Если бы девушка сошла на той же самой станции...»; «Если бы философ вовремя вспомнил, что он философ и пишет книги...»

А заканчивалась эта статья обращением:

«Вопрос к девушке с красной книгой: в каком из миров мог бы снова встретить ее автор и герой этой статьи?»

Философ понимал, что шансы на удачу ничтожны. Девушка, которая с утра читает книги в таких толстых переплетах, вряд ли читает местные газеты. И все-таки он хотел опять доверить инициативу судьбе: если в первый раз она подарила ему встречу с возлюбленной его мысли, то почему бы теперь возлюбленной не встретиться с ним через мысль, через текст? Если он мог случайно встретиться с ней в

поезде, то разве у них не больше шансов встретиться на страницах трактата, в лабиринтах его мысли, куда она вступила бы по зову обращенного к ней заголовка? Даже если бы ему и пришлось заново искать ее в поезде, он хотел все-таки сначала дать шанс судьбе повторить благородный выбор, свести их вместе, но на сей раз в пространстве его мысли. Это подтвердило бы, что она была призвана в его мир мыслью и их встреча и пожизненный союз потому и возможны, что дарованы мыслью, а не бедностью факта.

Он вдруг понял, что только случай и есть орудие судьбы, и в то же время он верил в то, что судьба зряча и с ней можно завязать разговор и вступить в сотрудничество. Он хотел *устроить* себе *счастливую случайность*. Возможно ли такое — умышленно вызвать ответное действие Промысла? А вдруг, если сделать шаг в правильном направлении, кто-то далекий из-за тысячи миль выйдет тебе навстречу? Он хотел заново встретиться с девушкой на такой же случайно-окольной дороге по отношению к предыдущей встрече, какой была и первая их встреча по отношению к его предыдущей жизни. Он хотел новой случайности, которая, соеди-

нившись напрямую с первой, образовала бы линию судьбы. Случай — точка, судьба — линия. Поездка на конференцию, северный штат, утренняя электричка... Это было случайностью, а если бы он вздумал повторить этот путь, то встреча перестала бы быть подарком судьбы, а стала бы трудом, поиском, напряженной жаждой и одолением. Он хотел соединения *двух случайностей* как *единого знака судьбы*, ее неиссякаемой щедрости. Он хотел новой встречи на условиях своей мысли, среди призрачных координат, где он строил свою философию возможных миров. Он хотел, чтобы вторая встреча не была логическим выводом из первой, а новой удачей, свободно выпавшей на его долю: чтобы из тысяч молодых пассажиров, любителей книг, мыслящих о проблеме судьбы, навстречу ему вышла та самая девушка, в которой он увидел свою судьбу, — чтобы она отозвалась на его мысль так же, как его мысль отозвалась на ее лицо.

Окончание этой истории зависит от того, в каком мире живем мы с тобой, мой читатель.

Возможно, это тот мир, в котором философ осмелился спросить девушку, как называется ее красная книга. Она показала ему обложку, и он прочитал: «Сон в красном тереме». «А вы знаете, что иероглиф „красное“ в китайском языке означает еще и „женское“, и „вышиванье“?» — спросил он ее. Так начался их разговор, который продолжался всю оставшуюся жизнь.

В другом мире на переплете книги было написано «Физика элементарных частиц». «Я люблю элементарные частицы, — поспешно заметил философ, — потому что они движутся по волнам вероятностей и каждая из них так свободна, как мы только хотели бы быть». Через два года из печати вышла первая совместная статья девушки с красной книгой и философа с эзотерической газетой (как она прозвала его в насмешку): «Физика частиц и философия свободы».

В третьем мире философ получил электронное письмо: «Девушка с красной книгой — это я, но, признаться, мне было трудно вообразить вас философом. Я решила, что вы поклонник далай-ламы и спешите на читательскую конференцию с ним (а вы очень спешили и боялись пропустить

пересадку). Я знакома с вашей книгой „О возможных мирах“ и поверьте, тот мир, в котором я обитаю, вполне возможен, что и подтверждается этим письмом».

В четвертом мире философ не получил ни одного отклика на свои обращения, кроме звонков от двух пожилых дам, которые выразили готовность вступить в пассажирскую ассоциацию, чтобы делиться со спутниками рецептами пиццы, лазаньи и другой вкусной и здоровой пищи. И тогда, дождавшись очередного отпуска, философ отправился бы в северный штат. В поезде ему хорошо думалось, и он продолжал писать трактат под названием «Девушка с красной книгой в разных мирах».

В этом четвертом мире он писал:

«Согласно квантовой механике, существует вполне определенная, хотя и малая вероятность даже самых нелепых событий. Например, в одно прекрасное утро мы можем проснуться и обнаружить, что кровать стоит в пустыне Сахара или посреди Млечного Пути. Для каждой из частиц, составляющих человеческое тело, вероятность такого пере-

мещения достаточно велика, а для самого тела и прочих макрообъектов ничтожно мала — и все-таки превышает ноль. Сидя сейчас в кресле, я могу представить свою волновую функцию как облако, которое по форме напоминает мое тело — но простирается далеко за его пределы, до Вашингтона, до Юпитера и даже за пределы Солнечной системы. Однако чем дальше, тем более расплывается контур этих возможных состояний моего тела. Это значит, что вероятнее всего я нахожусь сейчас именно здесь, в этом поезде, а не на планете Юпитер. И однако теоретически есть возможность, что сейчас я окажусь в Вашингтоне, в том самом доме, где живет девушка с красной книгой, и она скажет: „Как вы проникли сюда?“ Или окажется здесь, в соседнем кресле, и начнет разговор фразой: „Кажется, мы где-то встречались“. Вероятность эта ничтожно мала даже в масштабах жизни нашей Вселенной; тем более она мала в пределах моей короткой жизни или вот этой минуты...

И тем не менее, эта вероятность превышает ноль, а усилием мысли она может быть увеличена. Ведь наша мысль тоже есть волна и излучает энергию, которая посылает поток

частиц в заданном направлении. Любая частица оказывается в определенном месте только в тот момент, когда она фиксируется нашим сознанием, — иначе она, как ни странно, оказалась бы сразу во всех возможных местах своего нахождения (еще один парадокс квантовой физики). Определенность ее местоположения зависит только от факта ее наблюдения, попадания в поле нашего сознания. Но если сознание задает место частице, значит, хотя и в меньшей степени, оно может воздействовать и на положение больших тел: не так, как воля воздействует на свой собственный организм, а так, как судьба — непонятная нам мысль, промысел — воздействует на передвижения больших тел. Не с большой, но с достаточной силой, чтобы заметно увеличить вероятность их пребывания в определенном месте, там, куда их направляет наша мысль».

*В этот момент открылась бы дверь и по вагону прошла бы девушка, которую наш философ мельком увидел только со спины. Она прошла — а он так и не решился встать, обогнуть ее и заглянуть ей в лицо. Он остался сидеть в том же*



*кресле, то есть именно там, где наиболее высока была вероятность его пребывания в данный момент. Он не решался вмешивать в слабое квантовое действие судьбы сильное действие своей воли. При этом оставалась некоторая превышающая ноль вероятность, что локоны этой девушки, которую он видел со спины, принадлежат той, о которой он непрерывно думал.*

*Он продолжил писать:*

«Где есть квантовая теория, там есть и надежда. По предположению физика Хью Эверетта, в каждый квантовый момент своей эволюции Вселенная делится надвое, „развремляется“, как дорога, проходящая через развилку. На месте одной Вселенной образуются две, и так — каждую мельчайшую долю времени. Каждый квантовый переход — в любой звезде, галактике, в любом уголке Вселенной — расщепляет наш мир на мириады копий, которые различаются только расположением одной частицы. Стивен Хокинг трактует целую Вселенную как квантовую частицу, которая с

разной вероятностью пребывает в бесконечном множестве состояний, образуя мириады возможных миров, из которых наш является лишь наиболее возможным. Волновая функция нашей Вселенной — это бесконечное множество параллельных Вселенных. Мироздание — это не то, что есть, а совокупность всего, что может быть. Хотя мое перемещение в середину Млечного Пути практически невероятно в нашей Вселенной, оно уже состоялось в одной из возможных Вселенных, как и мое перемещение на Юпитер и в Вашингтон. В одной из этих Вселенных мы сейчас вместе с девушкой читаем красную книгу, а в другой Вселенной красная книга, которую она читала в поезде, — это то, что я сейчас пишу. И хотя Вселенных бесконечное множество и мое тело пребывает лишь в одной из них, то, что мы называем мыслью и особенно душой, возможно, объединяет всех моих двойников в этих бесчисленных мирах.

Волновая функция миров проходит через мое сознание и волю. Оттого каждый миг я немного другой, отличаюсь сам от себя, клонируюсь у себя на глазах, постоянно колеблюсь, как отражение в речных переливах. Каждый миг поток

времени уносит другие мои „я“ от меня, и они исчезают в неведомых мне мирах. Но точка этого дрожания и расщепления миров находится во мне; через меня проходит острие этого лезвия, гребень этой волны, множащей миры. Они уплывают от меня, как маленькие кораблики, покачиваясь на ряби своих вероятностей, но и тот мир, в котором я ушел от тебя, и тот, в котором мы остались вместе, и тот, в котором я тебя еще найду, и тот, в котором мне тебя никогда не найти, — они проходят через меня, как колебание моей мысли и воли.

Нет ничего случайного и ничего необходимого, но все, что может случиться, необходимо случается в каком-то из миров. Менее вероятное мы называем судьбой. Судьба — то, что мне не должно было встретиться, — и все-таки встретилось. Я не могу сам творить свою судьбу, но я могу совершать такие поступки, которые наименее вероятны для меня. Этим я подстегиваю склонность судьбы действовать вопреки моей воле и независимо от моей мысли. Я могу своей волей создавать квантовые переходы из этого мира в другие, менее вероятные миры, чтобы их ответные переходы в наш мир

обретали значение судьбы, постоянно удивляющей того, кто сам удивляет собой ход событий. **Действуй невероятно — и невероятное будет происходить с тобой».**

*Философ встал — и пошел по вагону в том направлении, где скрылась она, — и откуда она сама, с сияющим лицом, словно уже разгадав какую-то тайну, спешила ему навстречу. Тогда впервые он смог прочесть возникшее как будто в воздухе название красной книги:*

***Dante Alighieri. La Vita Nuova.***

## Поэтический кристалл

**Г**ерман Зотов был поэтом в душе, но за всю жизнь не написал ни одного стихотворения. А жизнь его уже приближалась к сорока, обнаруживая скучную склонность к повтору. Когда-то он поэтически ухаживал за женщинами, поэтически гулял у моря, поэтически варил кофе и даже поэтически подметал свою квартирку, напевая романсы прошлых веков. «Судьба, как вихрь, людей метет...» «И за борт ее бросает...» Ему очень хотелось сочинить что-нибудь свое, выплеснуть на бумагу всю поэзию, скопившуюся в его душе, — но, увы, ничего не получалось. Отдельные строки иногда приходили — и какие строки! «Ты из шепота слов родилась». «Не жалею, не зову, не плачу». «Я буду метаться по табору улицы черной». Но Герман обреченно сознавал, что эти строки уже давно были написаны кем-то другим. Иногда звучала в его сознании не совсем знакомая строка, например, «судьба за

мною брела по следу», но, набрав ее в поисковике, он неизменно обнаруживал под ней чужое громкое имя. Герман не мог понять, отчего в его душе так много поэзии — а слова для ее выражения все чужие. Подолгу сидел за чистым листком бумаги, перебирая в уме все нежности, которые вызывала в нем очередная Вера, или Надя, или Люба. Иногда покрывал этот лист каракулями, но чаще оставлял нетронутым и все-таки комкал его и выбрасывал в корзину. Сколько ласковых имен придумал он только для Любочки, но в стихи они никак не складывались. Его изумляла эта непреодолимая преграда между душой и бумагой. Отчего стихи из книги так легко входят в его душу — а вот обратный путь им заказан?

Потом все это забылось. Поэзия стала кончаться. Повторы коснулись даже женских имен, счет одних только Люб приблизился к десятку, а поиск разнообразия уже не доставлял радости, тем более, что Кати и Аллы были ему противопоказаны. По утрам горчило во рту, и становилось все яснее, что это и есть главный вкус жизни. Даже море, куда он продолжал по привычке ездить каждое лето, несло уже одну неоспоримую весть — о дурной бесконечности. И вдруг... В одно из таких

утр, когда каждый мудрее себя вечернего и когда кофе не перебивает, а усиливает вкус горечи во рту, что-то небывалое разнеслось в воздухе, или кто-то шепнул ему на ухо:

Мне жизнь моя уже не дорога.

Кто это сказал? — по привычке подумалось Герману, и он уже собрался залезть в компьютер и определить авторство, как в ухо ему всплыла другая строка:

Со мной тоска забытых поколений.

Каких поколений, кем забытых — этого он не мог бы сказать, он плохо понимал смысл того, что слышал. Напрягая слух, он поймал третью строку:

Морскою пеной набежит строка.

Это было как во сне: совпадение обстоятельств и вызванного ими сновидения. Строка сама набежала — и была именно о том, как набегают строки. Трехстрочие тревожно шевелилось и ждало развязки. «Я запутаюсь, не осилю» — мелькнуло у него, и тут же пришла подсказка.

Уйдет в песок ее шипучий гений.

Всё. Ушел в песок. Шипучий, кипучий, мгновенный. Ни звука больше не раздалось в нависшей тишине. Всё было сказано в этих стихах — о них самих. Последнее, что он успел добавить, было тире между третьей и четвертой строками, иначе было непонятно, что их соединяет. А соединяла как раз горечь противопоставления. Герман бросился к компьютеру, открыл Гугл, набрал первую строчку, мужественно ожидая встречи с ее автором. Один клик — и я выбываю из игры. Кликнул. Выплыли строки:

Мне жизнь не дорога, вдали от этих глаз... Разбивших  
тот хрустальный мир, где были я и ты.

...теперь мне жизнь не дорога, И кровь течет... течет...  
Текут и слёзы.

Но Пётр сказал: «Мне жизнь не дорога, Пусть лягу здесь,  
но пусть живёт Россия!»

И десятки других, но среди них не было той единственной, что пришла к нему. Набрал вторую строку — и чудо, ее тоже



никто не сложил до него, никто не изрек «тоска забытых поколений», были только подступы, приближения. Четыре строки вместе выглядели квадратным окошком в бессмертие. Вот он, дар Божий! Вот он, подарок ниоткуда, когда жизнь пройдена наполовину и поэзии в ней уже не осталось. Поэзия умерла — да здравствует поэзия! Отныне она будет жить на этой бумаге. Четким, красивым почерком он переписал свои обычно торопливые каракули на отдельный листок. Куда бежать? Кому показывать? Что делать дальше?

Четыре строки, ровным рядком разместившиеся в середине листа, — а вокруг них ничего. Да больше ничего и не нужно! Разве можно продолжать, когда стихи сами кончаются. Но отрывать от них не хотелось. Зотов перевел взгляд с тревожной белизны, занимавшей большую часть листка, на уверенно заполненную середину. Перечитал опять и опять, не веря себе. Неужели это я написал? Неужели это мне напислось? Я, мне. И вдруг строки, многократно перечитанные, стали волноваться и двоиться перед его взглядом. От невероятного напряжения и удивления стихотворение стало расти — не из себя, а внутрь себя.

Собственно, здесь и начинается история жанра, открытого Зотовым для мировой литературы, — жанра *бесконечного стихотворения*. Бесконечного не в длину, а вглубь, ибо почти за каждым словом стали открываться другие слова. Герман работал над своим созданием неустанно. Почти каждый день ему сочинялся новый вариант стихотворения, который не отменял предыдущего. Был не лучше и не хуже — все они были равноправны. Стихотворение состояло сразу из всех своих вариантов, и поэтому оно росло, полнилось, пенилось, наливалось смыслом, оставаясь в пределах своих четырех строк.

Первое сомнение вызвало у Зотова слово «забытых». Почему бы здесь не поставить «минувших»? Или «ушедших»? Или «истлевших»?

Со мной тоска истлевших поколений.

Совсем не плохо. А если мягче — не «тоска», а «печаль»? Или, напротив, резче — «позор»? «Позор», кстати, лучше сочетается с эпитетом «забытых».

Со мной позор забытых поколений.

Потому и позор, что они забыты нами, и мною в том числе. Потом его сомнение пало на эпитет «шипучий», и он передвинул его к «пене», а его место заняло слово «мгновенный», которое так созвучно гению и так грустно совместимо и несовместимо с ним.

Шипучей пеной набежит строка —  
Уйдет в песок ее мгновенный гений.

При всех сомнениях единственным неколебимым элементом в его стихах оставались рифмы, которые, как он считал, «пришли свыше и не моего ума дело». Но потом заколебалось и опорное слово «поколений», на пробную замену ему пришло «мгновений», и тогда вторая строка в сочетании с первой прочиталась более лирически:

Мне жизнь моя уже не дорога:  
Со мной позор непрожитых мгновений...

Все, все подвергалось сомнению в этих стихах — но это были именно сомнения, которые добавлялись к предыдущим,

а не отменяли их. Со-мнение как сообщество разных мнений. Стихотворение как универсум всех своих возможных версий.

Сначала Герман записывал все эти версии в длину, т. е. одно четверостишие за другим, и они различались только одним словом. Когда число версий перевалило за сотню, а объем бумажной пачки намекал на присутствие в ней целой поэмы, Герман понял, что нужен другой способ записи его емкого шедевра. Он должен не расти в длину, а распространяться вокруг себя, наращивая все новые грани, сверкая ими, как алмаз. От Пушкина перенял уподобление поэтической вещи «магическому кристаллу», и он углубился в кристаллографию, чтобы постичь законы формирования этих чудных многогранников. Он стал думать, как придать своему словесному кристаллу надлежащую форму в пространстве. Посоветовался с другом-инженером — и построил систему зеркал, в которых отражался текст стихотворения, но при этом на каждом зеркале в надлежащем месте была наклеена полоска бумаги с иным вариантом. У зрителя, в буквальном смысле, глаза разбегались, когда он входил в «зеркальную комнату одного стихотворения». Но это было чересчур громоздко и годилось

скорее для выставок новейшего изобразительного искусства, с передовыми мастерами которого Зотов еще не был знаком.

Потом приятель-программист разместил его «стихокристалл» в интернете: один вариант стихотворения наплывал на другой, сквозь одни слова медленно проступали другие, причем текст менялся не сразу, а от слова к слову трансформировался на глазах у читателя. Как-то программист обронил невзначай словечко «трансформ», и Герман его хорошо запомнил, обогатив номенклатуру литературных жанров еще одним термином: «текст-трансформер». Разумеется, был испробован и способ гипертекста: каждое слово четверостишия отсылало к странице, где оно заменялось другим словом. «Шипучей», «прозрачной», «кипучей», «мгновенной», «певучей», «морскою» — столько замен нашлось только у эпитета пены, и постепенно *каждое* слово четверостишия обрело свои варианты и окрасилось в лиловый цвет отсылки. Но и это не удовлетворило Германа, он хотел, чтобы все варианты стихотворения одновременно открывались взору читателя, он хотел развить *фасеточное* видение у своих современников. Многогранному кристаллу — многоочитого читателя!

Впрочем, читателей у Зотова до поры до времени вообще не было. Он боялся доверить свое единственное произведение непосредственному читательскому вкусу. Что если первые отзывы окажутся неблагоприятными и он утратит способность творить? Между тем кристалл-гипертекст разрастался по своим, ему одному известным законам. Однажды Герман не вытерпел и решил показать его авторитетному критику и теоретику М., с которым у него нашелся общий приятель (все тот же программист).

М. пришел в восхищение. Причем это был не чисто эмоциональный, а концептуальный восторг. М. набросал целую серию категорий, через призму которых стихотворение Германа может быть воспринято как особый жанр или даже новый тип литературного творчества. Он принял и расширил термин «текст-кристалл», обозначив им «интериоризацию текста как саморастущего эсхатона, т. е. конца-в-себе». Он сравнил «кристаллопоэзию» с изобретением двенадцатитоновой системы в музыке и обратил ее против традиционной поэзии, которая «строится по линейке и мерится в длину». Вариативность каждого элемента в этом тексте он вывел из

вероятностного характера вселенной, где потенциальность перевешивает актуальность. Актуально это сочинение Зотова представляет всего лишь четыре строки, но потенциально оно вмещает тысячи альтернативных строк, больше, чем «Шах-наме» Фирдоуси или «Божественная Комедия» Данте. Это стихотворение есть бесконечная возможность самого себя — возможность, никогда не переходящая в действительность. Герман Зотов открыл эстетику потенциального. Стихотворению больше не нужна длина, ему нужен растущий объем всех его вариантов. Дальше следовала цитата из Поля Валери, согласно которой гений мерится не своей оригинальностью, а своей универсальностью, т. е. количеством вариантов одного произведения, которые он способен создать. Чем многообразнее, универсальнее организм, тем он своеобразнее и индивидуальнее, поскольку отличается от других организмов наибольшим числом элементов (следовала ссылка уже на Владимира Соловьева с его рассуждением о тождестве универсального и уникального). Получалось, что он, Герман Зотов со своим поэзокристаллом, — новая веха в художественном развитии человечества. Это начало «интропоэзии», обращен-

ной внутрь себя и множащей свои грани-версии до бесконечности, растающей во весь объем языка.

Статья М. о стихотворении Германа Зотова наделала шуму и была, по сути, первой публикацией данного произведения, открывшей его массовому читателю. Ни один литературный журнал или сайт не пренебрег перепечаткой этого чудосочинения — публикации разнились лишь числом и отбором вариантов, которых порой хватало, чтобы занять печатную площадь целого рассказа. Выражение «кристалл Зотова» вошло во всеобщее употребление и стало почти столь же ходячей идиомой, как «бином Ньютона», «квадрат Малевича» или «кубик Рубика». В зарубежной англоязычной прессе заговорили о «Zotov's crystal» и даже «crystyle», объявив о начале нового большого стиля («кристиля») в литературе. Возникли многочисленные имитации, были учреждены конкурсы и премии за лучшие поэтические кристаллы.

Самого Германа эта нежданная слава и радовала, и огорчала, поскольку налагала на него некоторые обязанности. Он должен был неукоснительно поддерживать свой метод и демонстрировать его в действии. Однажды ему послышалось начало новой



поэтической фразы. Она перешла во вторую, третью — и выросла до целого четверостишия. Он принес его М.

«Старик, это гениально! — сказал М. — Но ты понимаешь, что это самоубийство? Отсюда начинается длина. Еще и еще. Умножение материи. Ты создаешь новый текст, вместо того, чтобы варьировать старый. Ты отступаешь от своей системы и возвращаешься на путь лирического варварства. Немедленно выброси в корзину — или лучше я сделаю это за тебя. А ты выброси это из головы».

Герман так и сделал, исключив возможность линейного развития своего таланта — оно совершенно прекратилось. Герман никогда больше не изменял своему первому и вечному кристаллу, неустанно его шлифуя. Зато в его жизни произошло немало перемен. Он понял, что истинно поэтичен именно повтор, бесконечная вариация одной темы. Ритм, рифма, аллитерация, ассонанс — это лишь способ обеспечить бесконечность повтору, который отличает поэзию от прозы. То, что Герман изобрел, было поэзией в квадрате, применением принципа повтора и вариации к самой поэзии, дополнительным способом рифмовки, так что одно-единственное четверо-

стишие повторялось опять и опять, так же как внутри четверостишия повторялись рифмы и чередовались ударные и безударные слоги.

И Герман захотел перенести этот принцип в жизнь, ибо он всегда был поэтом в душе, только раньше он думал, что поэзия — в новизне, а не в повторе. Он развил в себе интуицию «единственно-бесконечного». Не много женщин, а одна-единственная женщина, с которой множатся грани жизни, но не меняется исходный кристалл. «Ты бесконечная», — сказал он ей и женился. Жену его, как и раньше, звали Любовью, но у нее уже не было порядкового номера.

По образу поэтического кристалла стала устраиваться и вся его жизнь, включая выбор друзей, дома, времяпрепровождения. Благодаря многочисленным интервью, которые он, как «ведущий поэт-новатор современности», давал журналам и телевидению, слово «бесконечный» стало применяться почти ко всему. «Автор бесконечного стихотворения объясняет нам, что такое бесконечная жена». Автолюбители получили немало советов, как сделать свой автомобиль бесконечным, т. е. придать ему свойства других автомобилей. Передовое

агентство недвижимости ввело в обиход понятие «бесконечного дома», а детский журнал рассказал своим читателям о «бесконечной игрушке», перенеся потом это словосочетание в свое заглавие. Слово стало универсальным и даже паразитарным: «ищу бесконечную подругу», «он себе строит бесконечную дачу», «пишет бесконечную книгу», «обожает бесконечное кино». Во всех этих случаях «бесконечное» означает не размер, не внешнюю протяженность, а множественность вариаций, подвижность замен и перестановок, рекомбинаций в одной исходной модели. Появились фабрики, компании, фирмы с тем же словом в названиях брендов. Так почин одного бесконечного стихотворения стал распространяться на все стороны бытия.

В семейной жизни все тоже складывалось благополучно. Не обходилось, конечно, без мелких ссор. Однажды Люба ему заявила: «Ты ничего не понимаешь! Я — конечная». И в глазах ее сверкнула искра ненависти. Но потом ее лицо сморщилось, она заплакала. И Герман ее простил.

В целом его можно назвать вполне счастливым человеком, что отразилось в одном из новейших вариантов первой строки:

Мне жизнь моя как прежде дорога.

И лишь одно мучит Германа. Он так и не нашел способа синхронно представить весь универсум своего произведения. Ему предлагали просторные помещения, пустующие корпуса огромных заводов, где он мог бы развернуть все варианты, число которых перевалило за 100 тысяч, — воистину богат наш язык. Но восприятие этого гигантски выросшего кристалла все равно оставалось бы линейным. То, что вместил его мозг, не может вместить ни один человеческий глаз. «И сквозь магический кристалл» — повторял он про себя заветную фразу. Но бесконечность все равно оставалась недостижимой.

## Мумуха

**Х**удожник Гена жил один в своей квартире. Со временем развелось у него много тарелок и чашек, которые он забывал мыть. Он был одинок и все реже выходил из дому, чтобы повидать друзей. Но жила в его квартирке муха, которая подолгу кружилась вокруг него и приветливо жужжала. Он ее не прогонял и даже нарисовал несколько этюдов с нею: на чашке, на подоконнике. Зимой она надолго засыпала, укрывшись в каком-то неведомом уголке, и тогда он немножко скучал по ней, а весной она появлялась вновь и ему становилось не так одиноко. Он прозвал ее „Мумухой“ — и она отзывалась на эту кличку звонким жужжанием.

Однажды в квартиру к художнику зашла женщина Нюся, чтобы полюбоваться на его картины. Полюбовалась — и решила остаться. Помыла чашки и тарелки, привела постепенно в порядок холсты. А Мумуху она невзлюбила, особенно

после того, как обнаружила несколько ее портретов. И стала придираться — то жужжит она слишком громко, то пролетает слишком близко, обдавая воздушной струйкой, так что волосы шевелятся. И по ночам мешает спать им с художником, гудит, ревнует, отвлекает. Все время надо от нее отмахиваться.

И решила Нюся сжить Мумуху со свету. Гена слышать об этом не хотел. Нюся ему, конечно, нравилась больше Мумухи, но с этим насекомым его связывало долгое совместное прошлое, в котором без ее милого гуденья образовалась бы непоправимая дыра. Все-таки он был к ней очень привязан. Нюся его успокаивала — дескать, никакого зла они Мумухе не причинят, просто выпустят ее на природу, где она узнает радость вольного полета, свежего воздуха, окунется в дождевики и росинки.

Мумуха никак не хотела улетать. Несколько раз ее обманывали, опускали штору и открывали дверь, чтобы она сама улетела из темноты в светлый проем. Вроде бы она и улетала, но потом опять возвращалась, и Гена довольно улыбался, снова заслышав ее жужжание, а Нюся бесилась. Впрочем, может быть, это была не Мумуха, а другая муха, но Гена по

стуку своего сердца догадывался, что это она, его долговечная спутница.

Тогда Нюся пригрозила: или она, или Мумуха. Больше она не станет жить в одной квартире с этой жирной надоедливой скотиной. Как-то вечером она принесла круглую баночку, а в ней — ядовитую жидкость, источающую лакомый для мух запах. И сказала, что либо она ставит ловушку на ночь, либо уходит — и ноги ее в этом доме больше не будет. Гена чуть не заплакал — но, скрепя сердце, согласился.

Утром Нюся ничего ему не сказала, но коробочка исчезла. А с ней и Мумуха. Никто больше не носился по комнате, наполняя ее весельем живой неразумной жизни. И Гена вдруг ясно почувствовал, что Мумухи больше нет. Не только в квартире, но на всем белом свете. Нет больше такого существа, которое звалось этим именем и которое он изображал на своих этюдах. Ни в лесах, ни в полях, ни на городских свалках, — нигде ее больше нет.

Гена загрустил. Жизнь его с Нюсей продолжалась, как обычно, но чего-то ему не хватало, какого-то маленького звука, шороха, который раньше вокруг него обитал и отзы-

вался встречным ласковым звуком в его душе. Пусто стало без Мумухи, и жизнь с одной Нюсей стала ему казаться скучной и черствой, как будто это брак по расчету. Вслушиваясь в себя, он понял, что никак не может простить Нюсе смерти Мумухи, утонувшей в той приторной гадости и, вероятно, испытавшей настоящую смертную муку. А эта женщина наряжается, мажется, жрет всякие сладости и еще какие-то веселые песенки вполголоса напевает. И требует, чтобы ее рисовали и увековечивали. Мумуха была гораздо скромнее. Кроткая, безответная, верная — ничего не требовала, сама со всем справлялась и была рядом.

Нюся все больше раздражала художника, казалась жадной и вульгарной, но он не решался прогнать ее из дому. Было жалко ее — а главное, ему трудно было бы вынести полное одиночество: не только без нее, но теперь и без Мумухи.

И вот однажды художник вышел из квартиры и пошел по улицам куда глаза глядят. Он думал: то ли попросить Нюсю уехать, то ли ему уйти, поскитаться немного, погостить у друзей, а там, может быть, она и сама уйдет и он без всякой распри и скандала вернется к себе и начнет прежнюю жизнь,



без этой убийцы. Он шел бесцельно, потом присел на скамейку на солнцепеке. Вокруг резвились мухи, жужжали, гонялись друг за другом, нечаянно тыркались в его лысеющую голову. Ему было приятно — и вместе с тем горько, что расплодилось уже неведомо какое поколение мух — а его Мумуха, верно, уже сгнила в той сладкой отраве. Он сидел, думал, вспоминал, слушал жужжание, переходившее в какой-то неумолчный напев внутри него самого. Было тепло и почти счастливо. Он заснул и больше не проснулся.

## Корпус X.

### *Эротическая утопия Степана Калачова*

В этой подборке публикуются отрывки из сочинений Степана Федоровича Калачова (1899 – 1974), писателя, который остается до сих пор неизвестным, хотя и был — наряду с Александрой Коллонтай, Пантелеймоном Романовым, Сергеем Малашкиным, Львом Гумилевским — открывателем эротической темы в советской литературе.

**Н**а московском вечере-презентации моей книги о любви ко мне подошел человек преклонного возраста и представился как Евгений Степанович Калачов. Его заинтересовали мои работы по теории эроса, вошедшие в книгу. Из дальнейшего разговора выяснилось, что его отец Степан Федорович Калачов всю свою жизнь посвятил литературе и оставил после себя огромный архив, который сын, экономист по профессии, постепенно приводит в порядок. Степан Калачов — участник литературных движений 1920-х годов, автор нескольких романов и множества рассказов и очерков, которые

остались в рукописях, поскольку в ту эпоху подавлялось не только инакомыслие, но и инакочувствие. Центральной темой калачовской прозы была любовь, причем в очень откровенных и порой необычных проявлениях. Так, в некоторых рассказах, написанных от лица женщин, автор пытается воспроизвести особенности их эротического мироощущения.

Е. С. Калачов попросил меня взглянуть на тексты своего отца и оценить их литературные достоинства, а также возможность их публикации. Ведь новое поколение, которое зачитывается переводными эротическими бестселлерами, не имеет понятия о том, что в самое суровое советское время существовала своя литература «раскрепощения плоти», которая разработала особый язык для описания интимных отношений. Может быть, именно сейчас пришла пора воссоздать важное пропущенное звено в «карнавальных» традициях российской культуры? В то самое время, когда М. Бахтин писал свою прославленную книгу о Рабле и народной культуре Возрождения (тоже опубликованную с опозданием на 30 лет), в России эта стихийная культура, разбуженная революциями 1917 г., создавала свои ценности, искала свои неканонические способы выражения. На мой взгляд, Степану Калачову, действительно, удалось создать собственную эстетику для описания того, что, по его словам, «корчится, безъязыкое, не на улице, а в нашем собственном теле». В его текстах переплелись традиции натуралистической прозы и авангардного словотворчества.

*Михаил Эпштейн*

### Краткий биографический очерк

Степан Федорович Калачов родился в г. Подольске (Московская область) 11 апреля 1899 г. в семье рабочего-механика. Стихи и прозу писал с 15 лет. После Октябрьской революции учился на Брюсовских литературных курсах; в 1927 г. закончил Академию народного хозяйства по инженерному факультету. В 1918–1921 гг. был близок к Пролеткульту, примыкал к литературной группе «Кузница». В числе его наставников — А. Гастев и М. Герасимов. В 1922 г. попытался создать собственную группу «пролетарского молодняка» «Молот», куда временно входили М. Соболев, А. Красногрязов и Н. Фомина, первая жена С. Калачова. Задачей группы была выработка органического пролетарского мирозерцания на основе слияния марксизма с новейшими достижениями биологических и психологических наук, в частности, фрейдизма. «Молотобойцы» стремились преодолеть «наследие аскетизма и ханжества, поработившее нашу культуру», и художественно запечатлеть «мир и плоть, раскрепощенные революцией». Авторы круга «Молота» выступали против «энтропии» в отношениях между полами. Они не только всячески поляризовали мужское и женское, эротизировали отношения между ними, но и создавали новый язык, выражавший разницу мужского и женского видения мира и специфику сексуального поведения обоих полов. Наряду с этим их воодушевляла мечта о создании

целостного двоеполого существа, андрогина, которая впоследствии вплелась в романтическую, неомифологическую тенденцию советской фантастики 1950-х – 1960-х гг.

В 1920-е гг. С. Калачов, под псевдонимами «Степан Молодой» и «Степан Яров», предлагал свои очерки и рассказы для публикации в периодических изданиях, таких, как «Пролетарская культура», «Грядущее», «Горн», «Гудки». Один из его рассказов, «Под луной» (1928), удостоился сочувственного отзыва Пантелеймона Романова. В 1930-е гг., работая инженером на московских предприятиях, С. Калачов продолжает отдавать свои основные силы литературе. Однако ни одно из его произведений так и не увидело света. Он обращается за поддержкой к видным писателям, пытаясь объединить их усилия «в поиске полной правды о человеке — высшем вселенском органе борьбы и труда, желания и наслаждения». В архиве С. Калачова сохранились наброски его писем А. Платонову, М. Шолохову, М. Пришвину, Н. Заболоцкому; однако пока не найдено свидетельств завязавшейся переписки. В 1930-е гг. С. Калачов напряженно работает над романом-эпопеей «Любомор», рукопись которого (около 40 печатных листов) была утрачена во время Великой Отечественной войны. По версии Калачова, Любомор — это божество любви-смерти, которое определяет судьбы личностей и государств в XX веке: „любовь — роды ревности и смерти; избыток человеколюбия ведет к людоедству“ (из дневника, 1938).

В военные и послевоенные годы С. Калачов продолжает служить инженером на предприятиях тяжелой промышленности вплоть до выхода на пенсию в 1964 г. В 1950-е гг., после перерыва, вызванного войной и сложными обстоятельствами личной жизни (С. Калачов был трижды женат), возвращается к литературному творчеству. Особенную интенсивность его художественные поиски приобретают в период «оттепели». В дневниках С. Калачова появляются положительные отклики на деятельность Н. С. Хрущева, в котором он видит «ответ земли на гнет государства» и «надежду на освежение одряхлевших мускулов нашего общества». Во второй половине 1950-х гг. С. Калачов увлекается жанром научной фантастики и пытается слить ее с тем, что много позже, уже в 1990-е гг., стало называться «техно-эротической фэнтези». Роман «Парабола желания» описывает приключения экипажа космического корабля, где ведутся эксперименты по созданию андрогина. Особенно запоминаются сцены «слюбления в невесомости», хотя перегруженность техническими и физиологическими деталями подчас придает роману черты фантастического очерка, эссе-гипотезы. Роман формально не завершен, что можно интерпретировать и как прием его построения, фигуру самой «параболы желаний», уводящей в бесконечность. В последние десятилетия жизни С. Калачов уделял особое внимание своему дневнику, который sporadически вел с начала 1920-х гг. В записях 1950-х – 1960-х гг. он формулирует основы целостного «мыслеплотского» мировоззрения и практикует «биопсихическую медитацию»,

или «жизнемудрие». Скончался 16 декабря 1974 года в Москве, оставив взрослых сына и дочь; похоронен на Черкизовском кладбище.

Литературное творчество С. Калачова следует рассматривать в контексте художественных исканий XX века. Калачова нельзя вычеркнуть из истории советской «пролетарской» культуры, но многое связывает его и с теми писателями и мыслителями 1920-30 гг. — Платоновым, Пришвиным, Заболоцким, Бахтинным, которые пытались вырваться за рамки социологической и идеологической поэтики и найти в искусстве место для «эроса космической жизни и космоса человеческого тела» (Калачов). Особого внимания заслуживают связи его „эроики“ (так он называл сплав героики и эротизма, характерный особенно для его ранних произведений) с религиозно-эротическими утопиями Серебряного века — у Д. Мережковского, В. Розанова, Вяч. Иванова. Вместе с тем он может считаться предшественником того сплава эротики, гротеска, иронии, который получил развитие в концептуализме 1980-х – 1990-х гг., в частности, в прозе Вик. Ерофеева и Вл. Сорокина.

С. Калачов соединил в своем творчестве романтико-натуралистический эротизм с крайностями языковых экспериментов. В какой-то мере он может считаться, наряду с австрийским фрейдомарксистом Вильгельмом Райхом и французским мыслителем Жоржем Батаем, первопроходцем той осевой „философии желания“ XX века, которая объединяет мистику и политику как две грани широко понятого эротического опыта.

Как художник и мыслитель Желания, С. Калачов не чуждался ни грубо-фольклорных, ни утонченно-рефлексивных форм его изображения. Эта широта стилиевой палитры делает его уникальным явлением в советской литературе.

Ряд ранних текстов Степана Калачова создан в соавторстве с Ниной Ивановной Фоминой. Она родилась в Москве в 1900 г. В 1920 – 1926 гг. состояла в гражданском браке с С. Ф. Калачовым. Участница литературной группы «Молот». В соавторстве они написали повесть «Из угла в угол» в жанре дневников и переписки. В 1926 г. их жизненные пути разошлись, и дальнейшая судьба Н. И. Фоминой неизвестна.

Я глубоко благодарен Евгению Степановичу Калачову за возможность воспользоваться материалами из его семейного архива. Надеемся, что знакомство с творчеством Степана Калачова только начинается и принесет новые открытия.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Более обширная публикация из архивов С. Калачова: Корпус X. Эротическая утопия Степана Калачова. Публикация Михаила Эпштейна и Игоря Шевелева. Звезда, 7, 2015. С. 227 – 247.



## Повесть «ИЗ УГЛА В УГОЛ»

### Предисловие к публикации

Время действия повести — начало 1920-х гг. Теснота коммуналки. Двое молодых супругов (ему 23, ей 22), вдохновляясь романом Н. Г. Чернышевского «Что делать?» и идеалами революции, живут в противоположных углах комнаты и пишут друг другу письма о своих переживаниях. Одни и те же события передаются в разных регистрах, мужском и женском. Тема повести — *разночувствие* одной пары. Они сравнивают свои ощущения, пытаются быть предельно искренними в своей новой, «неханжеской» морали. Калачов считает, что «каждый пол, как и каждый класс, должен утвердиться своим словом о себе, чтобы не стать рабом чужого слова». Поэтому он настоятельно просит жену, во имя новой морали и новой литературы, делиться всем женским, что она находит в себе, предавать бумаге свои ежедневные «женские ощущения» в виде писем ему, Калачову. Он, в свою очередь, пишет ей «мужские письма». Так создается, на мой взгляд, одно из лучших произведений о любви 1920-х гг. Особенно трогательные страницы написаны Фоминой. Она на год младше мужа и находится под его идейным влиянием, поэтому старается изо всех сил соответствовать новой морали и фиксировать «самое женское». Но описание собственно эротической стороны их взаимоотношений дается

ей с трудом, она то и дело отвлекается на житейские коллизии и на свои любовные переживания, на то, что Калачов считает «устаревшей сентиментальщиной». Из этого сплава неловкого натурализма, трогательной бытописи и любовной драмы, которая перемежается эротическими стихами, рождается своеобразная «Vita Nuova» революционных лет.

### *Отрывок из повести*

## ОН

Полная женская грудь, невместимая в мужские ладони, — символ нашего грядущего изобилия. Не серп и молот — это все только орудия нашего преобразования земли, матушки-природы, а вот когда она сама нам раскроет свое лоно и вложит в наши уста свои набухшие сосцы, тогда и настанет время, за которое мы сейчас воюем. Мы ведь материалисты, а материализм — это не только сухая наука, это видение всей вселенной как кормящей матери и сыновняя нежность к ней. Но мать уходит, а остается жена, младшая и вечная мать, —

ты, родная моя, кормящая своей плотью, самой сытной и никогда не насыщающей меня, ненасытного. Влагою рта, упругостью груди, жаром лона... Что хлеб и мясо в сравнении с любящей плотью женщины! Холодные, черствеющие остатки плотского пиршества. Какие дураки мы, мужики, что больше заботимся о пулях и снарядах, об истреблении друг друга, чем о питании этой вечной женской плотью. Никогда мне не насытиться тобой, моя любимая.

## ОНА

Я считаю, что человек стал голым в революцию. До этого нельзя было, буржуи не пускали. По одежке встречали, водили по паспорту, как медведя, не сбежишь. А теперь из приличной одежды у женщин только коса осталась, да и ту скоро отрежут как капиталистический пережиток.

Соседка мне в коридоре говорила: без мужика, хоть сама себя скреби, — я не понимала. Они, соседи, то храпят, то дерутся. Сейчас опять за тонкой стенкой ругаются. Сосед в коридоре прижал, случайно или нет, а я так испугалась... Он

то ли еврей, то ли армян, не знаю, как с ним говорить. Может, просто инвалид. Я виду не подала. Если ругаться, то не в партию, а в жандармы надо идти. Это как новый быт предавать.

Хочу встретиться с товарищем Коллонтай, чтобы о женском по-партийному поговорить. Правда ли, что любовный фронт теперь будет главным?

## ОН

Ты своя, народная, не стесняйся. И все у тебя на месте, как в общем партийном деле. Каждого на нашу сторону перетащить надо. По голому телу женщину сразу видать, какого она класса. В голод коммунисты на одной любви держатся, пока буржуи мрут.

Скоро товарищи дом-коммуны в Малаховке организуют, поедем с тобой нести любовь в массы. А то и бывшие анархисты попадают, и эсеры, даже меньшевики, надо всех переучить лаской. Опять же нэпманы и спекулянты стали картину смазывать. О любовном кооперативе без денег не

слышали. Отсталое сознание норовит вернуть человека в частную собственность.

И еще мне кажется, что люди скоро станут другие. Физически иные. Не знаю, может, крылья вырастут. Или перестанут есть. Мы ведь сейчас меньше едим, чем до революции. И отлично себя чувствуем. Любви больше, когда еды меньше, замечала?

## ОНА

Я ведь понимаю, что наука с предчувствиями борется, но только мне иногда нехорошо. Давно хотела спросить, а что если с любовью в коммунистическом масштабе ничего не выйдет? Ведь даже птички поют: чьи вы, чьи вы? А мы хотим все отменить. Понимаю, что дичь говорю, не хочу тебя злить, но все же? А если это утопия, как у какого-нибудь Сен-Симона, Фурье, Оуэна? Тогда ведь лучше не жить, как ты думаешь? Извини, это настроение от того, что крови пошли, от женского нездоровья, с которым при коммунизме тоже научимся бороться.

Ты скажешь, что коммунист смерть через врага и партию принимает, а не сквозь неудавшуюся любовь. Я не против. Я — за счастье освобожденной любви. Ты знаешь, что я не смогла бы жить с непартийным.

## ОН

Вчера говорил с Перцовым, обрисовал ему мой идеал коммунистического общества, где женщина, кормящая мать и жена, стоит во главе нашей надежды и веры, и сосцы ее на гербе нашем. Он мне в ответ: это не коммунизм, это «порнократия» (вот ведь словечко откопал!). Коммунизм — это борьба, а не телячьи нежности. Дескать, когтистый лев, а не дойная корова — эмблема коммунизма.

Какой он все-таки недоделанный! Подросток в свои 26 лет. Ему бы только махать кулаками. Видит временное в коммунизме — и не видит вечного. А ведь это вековая мечта о слиянии людей — у кого же и учиться исполнению этой мечты, как не у любящих и сливающихся, у жены и мужа.

И порнократия здесь совсем не причем, потому что порно — это за деньги, на продажу, это очерствелый и безлюбый эротизм. Порнократ — это богатое животное, которое правит деньгами и услаждает себя на деньги, без души и взаимности. А когда вспомню, как ты погружаешь меня в себя, как плаешь мне навстречу и обволакиваешь всем мягким и нежным, как поишь и кормишь собой, я начинаю лучше понимать, для чего мы затеяли на земле это громадное дело и почему оно называется «коммунизм».

1921 –1924

## **Жизнемудрие**

*Из заметок 1950 – 1960-х гг.*

*11 января 1953*

Сегодня я пережил Ленина, деньком больше накинул на свой абак. Он трех месяцев и одного дня не дожил до 54, а мне всего три месяца осталось. Вроде бы нет у меня права сравни-

вать — а между тем я давно уже чертил параллели наших разновеликих жизней и заглядывал за тот край, где я останусь один, без *Него*, как когда-то остался без Лермонтова, Пушкина, Чехова... Уже без них мне идти пустеющей дорогой, не глядя им в спины, но оглядываясь на отставших. У возраста есть своя мудрость, которая даже глупого учит. Мудрость клеток, мудрость колец, наслаивающихся в стволе, — никакой мощью корней или пышностью кроны не превзойти этой толщины прожитого. Жизнь растет в ширину, на слой каждого прожитого дня, на величину его даров и ударов. Никакому вдохновению не залететь туда, куда можно прийти лишь своими ногами, хорошенько их истоптав. Даже гений, оставшись юным, своим торопким умом не обымет того, что дано знать 90-летней старухе. И что же я, тихой сапой переживший Того, кто облек меня и мой народ плотью истории и горизонтом веков? Сегодня вокруг меня гуляет ветер одиночества и свободы.



*15 февраля 1957*

Наткнулся на свою старую заметку 1921 г. о матриархате. «Революция — это не просто низвержение буржуазно-помещичьего строя. Это низвержение патриархата, исторический срок которого исчислялся тысячелетиями. Революция — это последнее Насилие с целью преодолеть само насилие, его социально-экономическую и психологическую природу. Значит, героем новых тысячелетий должна стать женщина. Мужчина должен учиться у нее искусству рожать и любить бытие».

Если бы наша страна, а за нею и весь мир двинулись этим путем, то итоги нашего революционного века могли бы оказаться другими. Обошлось бы без мировых, а пожалуй, и без гражданских войн. Мы были бы распахнуты навстречу друг другу, мы купались бы в теплом сиянии женственности. Мы старались бы по-матерински обнять весь мир, а не по-отцовски его наставлять и наказывать.

26 февраля 1957

Начинаю понимать, что неладно стало у меня с Н., когда мы поселились вместе. Я был с ней слишком мужчиной и хотел, чтобы она была со мной только женщиной. Хотя в глубине души я желал, чтобы женское в ней главенствовало и надо мной, чтобы я сам «женствовал», становился нежнее, — таял в ее объятиях. Но я не позволял этого себе. Я изображал сурового бойца партии. А на самом деле был заложником ветхого патриархата, который убил нашу любовь. А может быть, убил и историческую мечту человечества — коммунизм.

17 июля 1962

Бывают сновидения без видений, состоящие сплошь из телесных ощущений, но небывалых, фантастических. Сегодня снилось, что я как-то расширяю и утолщаю предметы вокруг себя — и они становятся многослойными и вызывают чувство наслаждения. У них особый крен к поверхности мира — наискосок, примерно 45 градусов. Это *сночувствие* до сих пор не оставляет меня — чисто орнаментальный эротизм, геометрия сладострастия.

*7 августа 1963*

О межтелесном рае. Как в балете парят, почти не касаясь пола, так и в разговоре об ЭТОМ нужны слова, которые позволили бы не касаться пола, т. е. грубо физических материй. Перстами легкими, как сон...

У меня слабая интуиция зла и ада, но сильная интуиция рая. Там можно любить многих, не вызывая ревности и соперничества. Рай — это предельная интенсивность жизни, когда вся она становится ощутимой, остраняется, как в искусстве. Эрос, любовь — это остранение/воскрешение тела, каждой жилки и нерва, которые выводятся из инерции повседневного существования. Иногда нужны две любви, чтобы одной остранять и делать более ощутимой другую.

*20 ноября 1964*

Почему химеры-женщины, возникающие в эротическом воображении (даже во время акта), так странно безразличны мужчине в реальном измерении. Какая-нибудь соседка или сослуживица. Эти химеры, даже регулярные, никак не влияют на его отношение к их прототипам, он не начинает больше

ими интересоваться, следить за ними, — нет, они просто дразнят его воображение и вместе с разрядкой желаний исчезают. Что же тогда само это воображение, если его образы столь безразличны субъекту?

*8 марта 1965*

Двадцатые годы предоставили нам удивительную возможность — впервые в истории — а мы ею не воспользовались. Вместо того, чтобы развивать и изощрять чувственность, мы убили ее, превратив материализм в сухое, отвлеченное понятие, безжалостное к природе и плоти. Между тем у нас было живое чувство братства, которое можно было бы перенести из идеологии в психологию и физиологию. Сделать так, как учил Маркс, — чтобы материя нам улыбалась всем своим чувственным блеском. И манила чувственной теплотой. Чтобы мы слеплялись телами, держали друг друга за руки, становились единым общественным телом. Коллектив — ведь это не только обобществление собственности, это еще и совместная телесная жизнь.

Собственность... почему мы придали ей такое большое значение, как при капитализме, только с обратным знаком? Разве станки, платформы, чугун значат больше для человека, чем его собственное тело? Надо было объединяться телами, чувствовать нежность и влечение друг к другу, стремиться быть вместе. Андрогин, мужчина и женщина в одном теле, — это подступ к дальнейшей мечте: о том, чтобы все общество, а в перспективе и все человечество стало одним телом. Это и есть настоящий коммунизм. Нам не хватало коммунизма на самом первичном уровне. Коммунистическая чувственность — возможно, к этому мы еще придем, когда овладеем всеми богатствами природы и вернемся в нее, уже не как ее рабы, а как равные, как братья и сестры. Она нас объединит с собой и друг с другом.

*10 апреля 1969*

Читаю нашу фантастику с радостью и с горечью. Высоко парит воображение, но тем очевиднее его разрыв с реальностью, которая все больше отстает от свершений мысли. Как медленно, угрюмо, неповоротливо мы живем! Да, мы открыли космическую скорость для человечества, но сами движемся по

истории в «медленной лет арбе». И все эти миры Ефремова и Стругацких имеют все меньше общего с нашей действительностью. Да и моя парабола желания все круче взмывает вдаль от Земли и никогда к ней не вернется. А ведь когда-то казалось, что Земля создана для наших грез и труда, что мы за несколько революционных лет ее переустроим и направим по иной орбите, как космический корабль, навстречу новым звездам. «Наш бог — бег».

Моя молодость совпала с молодостью страны, а теперь мы вместе одряхлели. В таком самосознании есть светлая грусть.

*12 октября 1969*

Что останется от меня? Сумма незавершенного. Всю жизнь я торопился — и отставал от себя, не успевал ничего завершить. Назову это «Корпус X». Корпус — это собрание текстов, но это и туловище, костяк, голая основа, без всяких одежд и украшений. X — то запретное, неименуемое, к чему я стремился смолоду всей душой и телом. Высшая точка бытия, где желание становится наслаждением, но не переходит в пресыщенность и расслабленность. Я хотел, чтобы

история моей страны тоже была броском в эту неизвестность, оргазмом для всего человечества. Радостью его слияния с самим собой. Слова «коммунизм» и «оргазм» были для меня созвучны. Моя ли это личная трагедия или общечеловеческая, что коммунизм стал все больше отождествляться с апатией и безжизнием?

*16 декабря 1969*

Простая мудрость: всюду, где только есть жизнь, способствовать ее росту, подталкивать вперед. Мудрость есть все, что живит, а глупость — все, что мертвит. Мудрость, сама себя чтущая, переходит в глупость. Здоровье, но не «пышущее» и топчущее больных, а сострадательное. Радость, но проникающая в тайну грусти и умеющая просветлить ее, а не уничтожить. Грусть мудра, коль скоро она знает обманность многих радостей — величия, славы, богатства, могущества, которым жизнь дает себя умертвить. Угадывать повсюду знак растущего и помогать этому росту, добавлять по капельке в каждую вазу, где стоят цветы, добавлять по слову там, где стоит пробел, и добавлять пробел туда, где стоит слишком

много слов и они теснят друг друга. Быть нежным к тому, что сурово. Быть вдвойне нежным к нежному, быть всегда чуть мягче того, что окружает тебя, но не слишком мягким, чтобы не дать ему тебя растоптать.

*29 декабря 1969*

Пока ты живой, у тебя не остается другого выбора, как только множить эту жизнь. Если ты наделен сознанием и душой, значит, ты должен оставить после себя мир чуть душевнее и сознателнее. Сама данность содержит в себе задание, которое не подлежит сомнению. Ничего не нужно выдумывать, никаких целей и смыслов, они уже даны, а значит, и предзаданы в самом факте нашего появления на свет. Вышел из тьмы — выводи других. Родился — рожай. Живешь — оживляй. Ешь — корми. Пьешь — пои. Видишь — помогай видеть. Думаешь — пробуждай мысль. Все глаголы своего существования преврати в переходные. Каждый несет свою данность как задание себе. Выращивать прибыль с каждой частички своего бытия — и делиться ею с другими. Все смыслы твоей жизни — деятельные, потому что они



исходят из ее начальных условий, превращенных в исполнимые цели. Каждая данность нашего бытия есть одновременно и задание: множить в себе и в других то, что...

*(На этом обрывается последняя запись в дневнике С. Калачова).*

## Ночная радуга

«Ночная радуга» (1937 – 1961) — это повесть, перерастающая в трактат, а затем вновь переходящая в повесть. Встречаются мужчина и женщина, и поначалу помехой в их близости является разность чувственных предпочтений. Мужчина любит глазами, а женщина ушами и кожей. Женщина просит выключить свет, а мужчина хочет его зажечь. У каждого пола — свой кругозор и своя «кругоощупь». Но постепенно, шаг за шагом, учась друг у друга, они осваивают все многообразие чувств и открывают новые пути к душевно-телесному слиянию. Наряду с традиционными пятью чувствами Калачов выделяет еще кинестезию (мышечное чувство) и чувство времени-вечности, которое играет, по его мнению, определяющую роль в любви. Однажды, выйдя в полночь на порог своего деревенского дома, влюбленные видят редкое явление природы: лунную радугу. Она бледнее

солнечной. Но ярчайшая радуга вспыхивает в них самих, как семичувствие, семистрастие, как все цвета и оттенки их ночной радости.

С. Калачов писал «Ночную радугу» почти четверть века. Пока что найдены только отрывки и черновики, из которых не удастся составить последовательного сюжета. Более отделаны внесюжетные, «трактатные» части произведения, из которых приводится несколько отрывков.

### **Стыдом попать стыд**

Почему органы размножения расположены в таком «стыдном» месте, совпадая с органом жидкого выделения и в соседстве с органом твердого выделения? Не для того, чтобы посрамить и унижить любовь, а чтобы из стыда преодолеть стыд, то есть восстановить плоть к радости и вечности из места ее наибольшего падения. Это пролог к чуду воскресения: как смертью смерть попать, так стыдом попать стыд. Размножением попать испражнение. Семя выливается оттуда же, откуда истекает моча. Источник вечной жизни в

потомстве и слив отработанных веществ в каждодневную могилу — это рядом и даже одно.

### Наслаждение и время

В отрочестве мне казалось, что, прижавшись грудью к женской груди, вдавившись сосками в ее соски, в эти упругие полушария, можно взорваться и умереть от счастья. Мне и теперь так кажется, только я уже понимаю, что умирать от счастья можно несчетное число раз. Наслаждение ищет повтора. Поскольку оно протекает во времени, то не может просто длиться, оставаться в покое, но достигает вечности через повтор, через прямое и обратное действие. Мужское «туда и обратно» есть повтор как источник наслаждения. Излитие семени могло бы в принципе производиться однократным актом, как это и происходит в мире рыб и насекомых. То, что семяизвержение в высших организмах достигается только через повтор, что сами мускульные агенты, необходимые для извержения, запускаются повтором, указы-

вает на смысл соития: это время остановки самого времени. Чтобы вернуться в то однонаправленное время, где мое семя будет воспроизводиться в моем потомстве, мне физиологически дано проходить через рай, где время останавливается во множющихся повторах.

И когда возвращаешься во время, опыта наслаждения уже как не бывало, его трудно запомнить, он изглаживается, как складка, запавшая в ткань времени. Время течет, когда ты отделен от мира и соизмеряешь себя с обстоятельствами, когда несешься, как в поезде, мимо отдельно стоящих роц и лугов. Когда же проносишься через темный туннель, чувство движения и времени пропадает. В объятиях и проникновениях оно останавливается. Внутри меня времени нет, а в любви все становится внутренним. Рай — это бесконечный повтор, где время складывается, как веер, само в себя. Если же повтор — вовне, в событиях, обстоятельствах, то он источник скуки, тоски, томления — ощущение ада. Соитие без желания — ад, как и существование без любви.

## Женщины

Есть женщины-улитки, которые приоткрывают створку, ведущую к своей мякоти, но никогда не отдаются полностью, остаются какой-то частью в непроницаемом панцире. Есть женщины-колобки, которые легко сминаются со всех сторон, выпускают в свою мякоть, оказываются сдобными, безбрежно уступчивыми и вместительными, но их нельзя охватить, вобрать в себя. Есть женщины-змеи, которые упруго скользят и проскальзывают через тебя, сладостно наполняют своим движением — но это движение не в тебя, а через тебя, ты путь, а не цель, и они уползают через тебя дальше, к какому-то своему солнцу; то скользкое, что ты сжимаешь, оказывается неудержимым. Есть женщины-пристанища, которых всегда находишь вокруг себя, в которых можно входить и выходить многими путями, и двери всегда распахнуты, но в них, как в гостиничном доме, не задерживаешься надолго. Есть женщины-ноши, которых надо постоянно нести на себе, которые сами не сделают ни шагу — ни навстречу, ни прочь от тебя,

которые ждут, когда ты их притянешь к себе, и от которых получаешь только то, что сам в них вложил. Есть женщины, которые умещаются в тебе и порхают, как птичка или бабочка, которые находят в тебе свое пристанище, оживляют тебя изнутри, щекочут, радуют, забавляют, делают это ловко и проворно, но они слишком малы, не заполняют тебя всего.

И есть женщины без названия, которые созданы по твоей мерке, которых полностью замыкаешь собой, но они упруго прилегают к тебе изнутри, растут из тебя, и ты становишься больше себя именно потому, что целиком содержишь их в себе. Они меньше тебя ровно настолько, чтобы, вместив их, ты мог перерастать себя. Они остаются в тебе, им некуда выйти из тебя, но они, как дрожжи, бродят в тебе, переполняют собой, и ты ощущаешь такую женщину как сдавленную пружину, как внутренний живой слепок себя, который распрямляется и разрастается в тебе.

## Пупочек

(эссе)

Пупочки, завязанные вовнутрь и наружу. Эта тема вдруг вытащилась из моего детского подсознания. Я на нее никогда не рефлексировал, но она там была, была. Пупочек в детстве представляется чем-то несравненно более важным, чем оказывается впоследствии. Жизнь постепенно уходит оттуда, откуда она изошла. Но детство еще близко к этой завязи, которая представляется главной загадкой бытия, окном в неизвестное; заглядывать в пупочек страшновато, как в глаз Циклопа. Между тем дети ходят голенькие, пузики распахнуты, и вот он — самый наглядный предмет для сравнения. Свой или чужой? Ввернут или вывернут? Спрятан или торчит?

Помню, что дети, у которых это было «не так» (как у меня), представлялись мне «радикально иными», «варварами», как бы выходцами из другого класса или нации (если переформулировать на взрослом языке это детское ощущение). Правильный пупок — такой, как у меня. Мальчики с торчащими

пупками были все пролетарские. Девочек не помню, наверно, и глядеть на это место боялся.

Впоследствии в разговоре с социальным психологом этот вопрос прояснился. Оказывается, пупочки завязаны наружу у тех детей, которых принимали в сельских больницах или плохо оснащенных городских роддомах: пуповину обрезали с большим запасом, чтобы избежать риска инфекции. А в роддомах с высоким уровнем медицины инфекцию было легко предотвратить и потому обрезали короче, больше заботились об эстетике, о том, чтобы аккуратно уложить пупочек во впадинку.

Могу ли я признаться, что когда зашел разговор о «правильных» пупочках, я вдруг заволновался, какой же пупочек собеседнице представляется правильным: интроверт или экстраверт? И побоялся спросить, чтобы нечаянно не наткнуться на роковое несходство. А ведь в сущности, этот вопрос о пупках-интровертах и экстравертах поглубже, чем разница психологических типов. Между *интро* и *экстра* возможно много переходов, и сам я, амбиверт, постоянно



перехожу из одного в другой. А вот свой пупочек уже никогда не развяжешь и заново не свяжешь: обреченность, судьба...

Вот еще сюжет для небольшого рассказа: встречаются он и она, сходятся абсолютно во всем, по всему кругу жизни и мировоззрения (пусть даже и рабоче-крестьянского), и только пупочки у них завязаны по-разному. И вдруг понимают, что им не суждено быть вместе. Вдруг доходит до них их душевная несовместимость, которая этими пупочками неотвратимо обозначена (как оттопыренные уши у Каренина — признак отчуждения Анны и ее растущей влюбленности во Вронского).

1962

### Послесловие к публикации

«Пупочек» входит в калачовский цикл эссе и рассказов про части тела и их роковое значение в человеческой жизни. Там были и «Темечко», и «Пальчик», и «Коленка», и «Попочка», и «Родинка» (интересно сопоставить с одноименным шолоховским), — все в ласкательно-уменьшительных формах, по крайней мере в заглавиях.

После всех разочарований 1920-х гг., после отхода от «Кузницы» и от «Молота», от монументальных, эроических (героико-эротических), космо-социумных установок, Калачов обратился к социалистическому сентиментализму и стал, наряду с М. Пришвиным, одним из его зачинателей. Все это было в замесе поздних 1930-х гг.: лесные тропы, капель, всякие зверушки — ежата, лисятки, белочки... Только у Пришвина это лицом к природе, а у Калачова разворот к телу, которое вдруг он начал любить слезной жалостью, как будто предчувствуя, какие пытки и ужасы этому телу предстоят на ближайшем историческом повороте. Да и наблюдал вокруг себя исчезновения этих тел, их смертный «потец», пользуясь словом А. Введенского из тех же 1930-х. Вот и создает Калачов лирико-натуралистическую опись тела, где каждая его часть любовно уменьшена в «переогромленном» масштабе постреволюционных и предвоенных судеб...

Вместе с тем и карамазовская, сладострастная литота звучит в его «пупочках» и «попочках». Как будто Степан Федорович по литературной линии прямой потомок Федора Павловича. Представим, что последний на старческом, все более постном досуге ударился в писательство (как Дж. Казанова). Он мог бы создать нечто уникально-сладострастное, чего не знает мировая литература! У нас от письменного стиля Ф. П. осталась только его записка Грушеньке. «У Федора Павловича конверт большой приготовлен, а в нем три тысячи запечатаны, под тремя печатями-с, обвязано ленточкою и надписано

собственной их рукой: „ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти“, а потом, дня три спустя подписали еще: „и цыпленочку“». Но ведь это дорогого стоит, это перwokлeточка нового письма, которого в литературе еще не было. Были маркиз де Сад, Л. Захер-Мазох, Д. Г. Лоренс, Г. Миллер, с их накамом жестоких, саднящих страстей... А вот чтобы так мягко, умильно, почти слезно подойти к женщине, даже какой-нибудь мовешке и вьельфильке, так размять, увлажнить... Чтобы «ангел» и «цыпленочек» рядом, через «и»...

Конечно, у Калачова, наряду с этим карамазовским, есть и пришвинское, и платоновское, и даже горьковское. Но главное — ощущение бесконечно живого, родного и неотвратимо уходящего в этих пальчиках и родинках... Прощание с телом: не только накануне Великой Войны, которая своей мельницей его перемелет, но и накануне последующей технобиореволюции, которая своими киборгами мирно его оттеснит, усовершенствует и заменит. Эта слезная умильность к телу, в сочетании с карамазовским сладострастием, платоновским дремучим любомудрием и сквозным ощущением исторических судеб, — это предчувствие, зароненное в 1930-х, оглушительно могло бы прозвучать и сейчас, и на весь XXI век!

Успел Степан Федорович («пятый сын») написать только семь рассказиков из задуманной книги о частях тела. Но то, что успел, может стать краеугольным камешком нового направления: экологии тела и ретро-эротики. Сентименталь-

ные модели отношения к природе, возникшие на рубеже XVIII – XIX вв., с развитием городской цивилизации и промышленной революцией: все эти умиления, слезы, вздохи, порывы, — переносятся теперь на ландшафты человеческого тела. Новый предмет возникает в литературе: тело уже не как физическая и эротическая данность, а как серафическое простирание за горизонт здешнего. Как природа в гетевско-шиллеровском изводе перестала быть «здесь» и стала «туда» («туда, туда, где зеленеет роща, где благоухают лавр и лимон...»), — так и тело в «постиндустриальном», информационном обществе отодвигается *туда*. И само влечение к нему приобретает какой-то потусторонний оттенок: сладострастие пополам с ностальгией и ангеличностью.

Открытие наследия С. Ф. Калачова важно еще по одной причине. У официальной советской литературы было политическое крыло, но не было эротического: именно это мешало ей взлететь в глазах мирового интеллектуального сообщества. На протяжении полувека Калачов упорно разрабатывал тему «крылатого эроса», причем в меняющихся исторических и политических контекстах советской эпохи. Младший современник писателей «Кузницы», ровесник А. Платонова, старший современник И. Ефремова и братьев Стругацких — таков культурно-исторический фон движения С. Калачова от утопии 1920-х к фантастике 1960-х.

Теперь становится очевидно, что советская революционная эпоха породила свою «эроику», то героическое, а отчасти

и ироническое отношение к эросу, которое никогда еще не выразилось в таком гиперболическом масштабе. На Западе постсоветская литература вызывает мало интереса, в отличие от советской, что обусловлено, конечно, левыми симпатиями западных интеллектуалов. Но в стерильной советской литературе, которую они хотели бы любить гораздо больше, чем любят, они находят мало поддержки своим радикальным проектам и бунтарским альтернативам. Революционность нового общества оказалась компромиссной: радикалы от политики остались ханжами и консерваторами в сексуальной морали. Корпус новонайденных текстов может одарить нас моментом счастливого прикосновения к «другой истории» XX века — к той истории, где социальная революция привела не к угнетению, а к раскрепощению плоти, к «марксистскому раблезианству».

## О Г Л А В Л Е Н И Е

Предисловие .....	5
Мертвая Наташа .....	9
Девушка с красной книгой .....	58
Поэтический кристалл .....	84
Мумуха .....	100
Корпус X. ....	105

## Другие книги автора

### *На русском языке*

- Парадоксы новизны. О литературном развитии XIX - XX веков. — М.: Советский писатель, 1988. — 416 с.
- «Природа, мир, тайник вселенной...». Система пейзажных образов в русской поэзии. — М.: Высшая школа, 1990. — 304 с. 2-ое изд. Стихи и стихии. Природа в русской поэзии XVIII — XX веков (серия «Радуга мысли»). Самара, Бахрах-М, 2007, 352 с.
- Новое сектантство: типы религиозно-философских умонастроений в России. 1970–1980-е годы. Холиоке (Массачусетс): Нью Ингленд Паб-лишинг Ко., 1993. — 179 с.; 2-е изд. — М.: Лабиринт, 1994. — 181 с.; 3-е изд. Самара, Бахрах-М, 2005. — 255 с.
- Великая Сось. Философско-мифологический очерк. — Нью-Йорк: Слово, 1994. — 177 с. 2-ое изд. Самара: Бахрах-М, 2006, 268 с.
- Вера и образ. Религиозное бессознательное в русской культуре XX века. — Тенафли (Нью-Джерси, США): Эрмитаж, 1992, 1994. — 269 с.
- На границах культур: российское — американское — советское. Нью-Йорк: Слово, 1995. — 344 с.
- Бог деталей. Народная душа и частная жизнь в России на исходе империи. — Нью-Йорк: Слово, 1997. — 248 с.; 2-е изд. — М.: ЛИА Р. Элинина, серия «Классика XXI века», 1998. — 240 с.
- Постмодерн в России: литература и теория. — М.: ЛИА Р. Элинина, 2000. — 367 с.
- Философия возможного. Модальности в мышлении и культуре. — СПб.: Алетейя, 2001. — 334 с.
- Знак пробела. О будущем гуманитарных наук. — Новое литературное обозрение, 2004. — 864 с.
- Все эссе, в 2 тт. т. 1. В России (1970—1980-е); т. 2. Из Америки (1990—2000-е). — Екатеринбург: У-Фактория, 2005, 544 с. + 704 с.
- Постмодерн в русской литературе. — М.: Высшая школа, 2005. — 495 с.
- Слово и молчание. Метафизика русской литературы.—М.: Высшая школа, 2006.— 559 с.

Амероссия. Избранная эссеистика./ Amerussia. Selected Essays (серия «Параллельные тексты», на русском и английском) М., Серебряные нити, 2007, 504 с.

Энциклопедия юности (совместно с Сергеем Юрьененом). — *Franc-Tigeur USA*, Нью-Йорк, 2009. — 477 с.

Каталог (совместно с Ильей Кабаковым). — Вологда, Библиотека московского концептуализма Германа Титова, 2010, 344 с.

*Sola Amore*: Любовь в пяти измерениях. — М., Эксмо, 2011 — 496 с.

Религия после атеизма. Новые возможности теологии. — М., АСТ-пресс, 2013, 416 с.

Отцовство. Роман-эссе. — Тенафли (Нью-Джерси, США): Эрмитаж, 1992. — 160 с.; 2-е изд. Отцовство. Метафизический дневник. — СПб.: Алетейя, 2003 (первая книга в серии *Men Studies*); 3-е изд. Отцовство. Роман-дневник. М.: Никея, 2014. — 310 с.

Клейкие листочки. Мысли вразброс и вопреки. — М., *Arsis Books*, 2014 — 266 с.

Ирония идеала. Парадоксы русской литературы. — М., Новое литературное обозрение, 2015. — 382 с.

#### *На английском языке*

*Relativistic Patterns in Totalitarian Thinking: An Inquiry into the Language of Soviet Ideology*. Kennan Institute for Advanced Russian Studies, Occasional Paper, #243. Washington: The Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1991, 94 pp.

*After the Future: The Paradoxes of Postmodernism and Contemporary Russian Culture*. Amherst: University of Massachusetts Press, 1995, 392 pp.

*Russian Postmodernism: New Perspectives on Post-Soviet Culture* (with Alexander Genis and Slobodanka Vladiv-Glover). New York, Oxford: Berghahn Books, 1999, 528 pp. Hardcover and paperback editions.

*Transcultural Experiments: Russian and American Models of Creative Communication* (with Ellen Berry). New York: St. Martin's Press (Scholarly and Reference Division), 1999, 340 pp.



Cries in the New Wilderness: from the Files of the Moscow Institute of Atheism. Trans. and intr. by Eve Adler, Philadelphia: Paul Dry Books, 2002, 236 pp.

Russian Spirituality and the Secularization of Culture. New York: Franc-Tireur USA, 2011, 154 pp.

PreDictionary: New York: Franc-Tireur USA, 2011, 141 pp.

« » New York: Franc-Tireur USA, 2011, 50 pp.

The Transformative Humanities: A Manifesto. New York and London: Bloomsbury Academic, 2012, 318 pp.

Другие авторы издательства

АБРАМОВ АКСЕНОВ

Прот. МИХАИЛ АКСЕНОВ-МЕЕРСОН

АМУРСКИЙ БАБУШКИН БАВИЛЬСКИЙ БАЛЛА БАТШЕВ БЕРГ  
БОГОМЯКОВ АЛЕНА БРАВО БЕЛКА БРАУН БЕРЛЯНТ БОВ  
(БОБОВНИКОФФ) БОКОВ БОНДАРЮК БОРИН БОРОДА БОРОДИН  
БРИГАДИР БЫЧКОВ ВОИНОВ ВОЙЦЕХОВСКАЯ ВОЛЫНСКИЙ  
ВСЕВОЛОДОВ ВОИНОВ ГАЛЬЕГО ГАНОПОЛЬСКАЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ  
ГОЛОВКОВ ГУБЕРМАН ГУДАВА ДАНИЛОВ ДЕМИН ДОБРОДЕЕВ  
ДОБУЖИНСКАЯ ДОБРОВОЛЬСКАЯ ДРАГОМОЩЕНКО ДУДИНА  
ЗАГРЕБА ИВАНЧЕНКО ИОХВИДОВИЧ ИЛИЧЕВСКИЙ ИЦЕЛЕВ  
КОВАЛЕВА КОГАН КОНДРОТАС КОРТИ КОТЛИКОВ КРЕЙН  
КУЗЬМЕНКОВ КУЛИК КУРЧАТКИН ЛЕБЕДЕВ ЛЕВЧИН ЛЕСКОВА  
ЛИДСКИЙ ЛОРЧЕНКОВ ЛЕМБЕРСКИЙ МАРТЫНОВ МЕКЛИНА  
МИЛЬШТЕЙН МУСАЯН НАЗАРОВ НЕСТЕРОВ НЕТРЕБО НИКИТИН  
ОГАРКОВА ОГЛОБЛИНА ПАТРЫШЕВ ПОЛЕТАЕВА ПЕНИН ПЕТРОВ  
ПЫРЕГОВ РАЗУМОВСКИЙ РАШИН РОДИОНОВ РЫБАКОВ САНДЛЕР  
СЕЛИН СЕН-СЕНЬКОВ СЕРОКЛИНОВ СЛЕПУХИН СОЛОУХ  
СОКОЛОВСКИЙ СЕЧИНСКИ (РЫБАКОВ) ТЕРНОВСКИЙ ТИБО  
УСЫСКИН УРСЕНКО ФОХТ ХРАМОВА ХУРГИН ЦЕЙТЛИН ЧАНЦЕВ  
ШЕСТКОВ ШМАРАКОВ ШУШАРИН  
**ЭПШТЕЙН** ЭЛЬ ЖЕЙМО ЭРБАР  
ЮРЬЕВ ЮРЬЕНЕН  
ЯБЛОНСКИЙ

Адреса книжных витрин

[http://www.lulu.com/spotlight/franc\\_tireur](http://www.lulu.com/spotlight/franc_tireur)  
<http://www.lulu.com/spotlight/FrancTireurUSA>  
[http://www.lulu.com/spotlight/serge\\_iourienen](http://www.lulu.com/spotlight/serge_iourienen)

Адрес издательства

[franctireurusa@gmail.com](mailto:franctireurusa@gmail.com)

Издательский совет

Дмитрий Бавильский (Россия)

Николай Боков (Франция)

Александр Кабаков (Россия)

Марина Ками (США)

Марио Корти (Италия)

Элен Менегальдо (Франция)

Андрей Назаров (Дания)

Михаил Эпштейн (США, Великобритания)

Сергей Юрьенен (США)



*Franc-Tireur*  
USA

МИХАИЛ ЭПШТЕЙН

ПРОСТО ПРОЗА



Это первое издание художественной прозы Михаила Эпштейна, филолога, философа, профессора теории культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта, США).

В книгу вошли пять рассказов о любви и творчестве.

MIKHAIL EPSTEIN  
JUST THE PROSE

FRANC-TIREUR USA

ISBN 978-1-365-00334-9

90000



9 781365 003349